РИХАРДЪ ВАГНЕРЪ.

BETXOBEHB.

Въ переводъ и съ предисловіемъ ВИКТОРА КОЛОМІЙЦОВА

РИХАРДЪ ВАГНЕРЪ.

БЕТХОВЕНЪ.

(1870)

ВЪ ПЕРЕВОДЪ И СЪ ПРЕДИСЛОВІЕМЪ

ВИКТОРА КОЛОМІЙЦОВА.



ИЗДАНІЕ С. и Н. КУСЕВИЦКИХЪ.

СКЛАДЪ:

НОТНЫЕ МАГАЗИНЫ РОССІЙСКАГО МУЗЫКАЛЬНАГО ИЗДАТЕЛЬСТВА. МОСКВА—С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1911.

14807-43.

Отъ переводчика.

"Dans cette oeuvre sublime il y a des pages vertigineuses!"

Ф. Листъ.

Предлагаемое русской публикъ «изслъдованіе» о Бетховен в отнюдь не исчерпываеть того, что высказаль Вагнерь объ этомъ музыкантъ-титанъ и объ его произведеніяхъ. Наряду съ Шекспиромъ. которому Вагнеръ всю жизнь свою поклонялся, какъ «огромному, сверхчеловъческому» драматургу, — въ области драмы-музыки Бетховенскій геній всегда быль для него величайшимь художественнымь свъточемъ. Поэтому неудивительно, что и въ письмахъ Вагнера, и въ его литературно-теоретическихъ сочиненіяхъ мы постоянно встрѣчаемъ имя Бетховена. Напримерь, въ большомъ трактате «Художественное произведеніе будущаго», въ отдёлё «Музыкальное искусство», авторъ «Кольца Нибелунга» далъ намъ замѣчательно цѣнныя по своей яркости и оригинальности характеристики Бетховенскихъ типовъ. Затъмъ, спеціально послёднимъ Вагнеръ посвятилъ нёсколько небольшихъ отдёльныхъ статей: «Коріоланъ», «Ге-

Типографія С. Л. Кинда, Спб., Казанская улица, Ла 44.

роическая симфонія», «Программа 9-й симфоніи», «Къ исполненію 9-й симфоніи». Прекрасный эскизный портреть Бетховена мы имѣемъ въ одной изъновелль подъ общимъ заглавіемъ «Нѣмецкій музыкантъ въ Парижѣ», написанныхъ Вагнеромъ еще на зарѣ карьеры,—во время бѣдственнаго пребыванія въстолицѣ Франціи въ 1840—41 гг. *).

Но наиболъе крупнымъ и наиболъе замъчательнымъ сочиненіемъ Вагнера о творцѣ девятой симфоніи является трактать «Ветховень», который можно назвать художественно-философскимъ резюме всего того, что думаль Вагнерь о своемь божествъ въ связи съ духовной жизнью человъчества и что онъ порой высказывалъ только отрывочно и мимоходомъ. Сочиненіе это написано въ 1870 г., когда музыкальный міръ праздноваль стольтнюю годовщину рожденія Бетховена и когда самъ Вагнеръ подошель уже къ послъдней ступени своего «дъла»,---къ созданію образцоваго театра-храма музыкальной драмы. Въ области философскаго мышленія онъ находился въ то время подъ обаяніемъ красивъйшихъ построеній Шопенгауера, законченное міросозерцаніе котораго такъ отвъчало его собственнымъ-всегда однако болъе художественнымъ, чъмъ чисто-философскимъ върованіямъ и интуиціямъ. На Шопенгауера Вагнеръ и опирается въ настоящемъ своемъ сочиненіи. Подъ впечатлѣніемъ этой именно философіи онъ сталъ рѣшительно и опредѣленно высказываться о преимуществѣ музыки передъ другими искусствами; и если въ своихъ выводахъ онъ тутъ доходитъ порой до явно парадоксальныхъ крайностей, то все-же и эти крайности всегда такъ интересны и такъ увлекательны! Надо только помнить, что большинство своихъ драмъ, а также теоретическихъ сочиненій Вагнеръ написалъ еще до того, какъ ознакомился съ теоріями великаго философа,—и затѣмъ былъ счастливъ найти въ нихъ какъ-бы «оправданіе» своихъ принциповъ.

«Бетховенъ» Вагнера не есть біографія или критика въ обычномъ смыслѣ слова: самъ авторъ въ маленькомъ предисловіи предваряеть читателя, что его трудъ есть изследование самой музыкальной сущности, воплотившейся въ образѣ Бетховена. Сочинение проникнуто горячей върой въ германскій геній, въ германскую музыку-драму, создателемъ которой быль Бетховенъ, -- въ высокое искусство, способное возродить и осчастливить человъчество, избавивъ его отъ позорныхъ сътей «наглой моды». А потому тоть факть, что сочинение это написано какъ-бы ad hoc, -- по случаю юбилейной даты, -никониъ образомъ не умаляеть его значенія, не дълаетъ изъ него какой-нибудь pièce d'occasion, интересной только для даннаго случая. Совершенно напротивъ!

^{*)} Новелла эта называется "Паломничество къ Бетховену".

Именно теперь, 40 лъть спустя, этотъ «въщій глаголъ» кажется особенно своевременнымъ. Въдь нельзяже не видеть и не сознавать, что мы переживаемъ поистинъ смутное и странное время. Художественный рынокъ явно страдаетъ страшнымъ перепроизводствомъ всяческихъ продуктовъ, при прогрессирующемъ наденіи ихъ идейнаго качества и жизненной значительности; въ частности, онъ наводненъ quasi-музыкой. Число «артистовъ» все возрастаеть и возрастаеть прямо-пропорціонально нашему духовному измельчанію, -- и теперь едва-ли не всякій, болье или менье усвоившій музыкальную грамоту и потому уже считающій себя «музыкантомъ», спѣшить во что-бы то ни стало выдёлиться надъ безбрежнымъ уровнемъ себъ подобныхъ и какъ можно скоръе ознакомить съ собою міръ. Отсутствіе своей віры и своего идеала—на каждомъ шагу замъняется искусственной позой и манерной поддълкой подъ старые, святые въ своей непосредственности образцы; завъдомыя ограниченности лукавымъ мудрствованіемъ или безудержнымъ цинизмомъ тщатся затмить немеркнущій свѣтъ близкаго и далекаго минувшаго, — и даже даровитыя натуры съ легкимъ сердцемъ тратятъ себя на разные модные «Фальшфейеры» и эксцентричныя «Экзотики», на бездушныя «Фантоши» и безсодержательныя «Бирюльки». Представленіе объ истинныхъ, великихъ задачахъ искусства постепенно утра-

чивается, и въ хаосъ перепутавшихся понятій ловкость и изощренность во фривольномъ и ничтожномъ принимается за импрессіонистскую геніальность. А потому въ наши дни, когда музыку «гутируютъ», какъ какой-нибудь соусъ, когда писательство о музыкъ имъетъ тенденцію окончательно обратиться либо въ пошлъйшій «злободневный» фельетонизмъ, либо въ скучнъйшій репортажъ, либо въ презръннъйшее сведеніе личныхъ счетовъ, когда о музыкъ очень часто самоувъренно пишутъ люди, ничего въ ней не понимающіе и ея не чувствующіе, жогда, наконецъ, даже наиболъе сознательные, чуткіе и добросовъстные критики порой готовы видъть альфу и омегу музыки въ ея физическихъ законахъ и витикъ формахъ и темъ безконечно унижаютъ это глубочайшее изъ искусствъ, -- въ наши дни такое необычное слово, какъ «Бетховенъ» Вагнера, болъе чемъ когда-либо кажется откровеніемъ, спасительнымъ якоремъ, благодатно-могучимъ лучомъ, прорьзающимъ туманную мглу, въ которой задыхается и тонетъ истинное искусство.

Какъ отвыкли мы отъ такой убъдительной силы, отъ такой смълости и красоты мысли! Какія яркія сопоставленія и нараллели проводить авторъ, какіе широкіе горизонты онъ намъ открываеть!—Не говоря уже о томъ, что самъ Бетховенъ, этотъ огромный міръ звуковъ въ образъ человъка, выступаеть здъсь

удивительно мощной и выпуклой фигурой, --- современнаго читателя поражаеть та species aeterni, та возвышенная атмосфера, гдв пребываеть авторъ, трактуя свою тему. Когда дёло идеть о продуктахъ художественнаго творчества, онъ изследуетъ только сокровенную, духовную сущность явленій, а ихъ внъшность интересуетъ его лишь постольку, поскольку она служить для выявленія этой сущности. Какой авторитеть, какое несравненное значение возвращается искусству при такомъ его освъщения! И какъ это не похоже на обычныя «серьезныя» разсужденія наши о тёхъ или иныхъ артистахъ, о тёхъ или иныхъ музыкальныхъ произведеніяхъ! Въ самомъ дёлё, развѣ не достойно удивленія хотя-бы то, что такой исключительный мастеръ музыкальной техники, какъ Вагнеръ, безгранично расширившій средства музыкальнаго выраженія, — въ большомъ и детальномъ изслъдованіи музыки все время им'веть въ виду только ея главную суть, ея душу-мелодію? Онъ очевидно подразумъваетъ, что техника и ен прогрессивное развитіе—условіе sine qua non для всякаго искусства, но что говорить о ней, разбирать ее и изучать по тъмъ или другимъ выдающимся образцамъ—дъло школьныхъ учебниковъ и спеціальныхъ статей инструктивнаго характера; ибо техника, претендующая на самодовлъющій художественный интересъ,--безсмысленна и оскорбительна для искусства: безъ

сомнѣнія,—самая изысканная, «вкусная» и технически «новѣйшая» музыкальная пьеса можеть быть въ полной мѣрѣ ничтожной вещью. Всѣми своими произведеніями и всѣмъ своимъ всеобъемлющимъ существомъ Вагнеръ подтверждаетъ, что въ искусствѣ единственный интересъ представляетъ, въ концѣ концовъ, не то, какъ и какими средствами выраженія художникъ достигъ того-то и того-то, а чего именно удалось ему достичь въ области духовныхъ переживаній и духовнаго созиданія.

7

И возможно-ли лучше схватить и немногими проникновенными словами опредёленнёе начертать цёлую схему музыкальнаго произведенія, чёмь это дёлаеть Вагнерь, когда говорить намь, напримёрь, о cis-moll'номь квартетё Бетховена?—Моментами онъ взлетаеть съ читателемь на безумную высоту,—и недаромь Листь, прочитавь «Бетховена», въ изумленіи воскликнуль: «Въ этомъ бежественномь сочиненіи имёются поистинё головокружительныя страницы!»

Но Вагнеръ заявляетъ, что онъ написалъ свое «изслѣдованіе» для «образованныхъ людей», —т. е. для тѣхъ, кто привыкъ вдумчиво и сознательно относиться къ проблемамъ жизни и связаннаго съ нею искусства; а потому для большинства нашей публики окажутся, вѣроятно, малопонятными тѣ страницы (особенно въ первой изъ трехъ частей сочиненія), которыя посвящены отвлеченнымъ построеніямъ ги-

потезы о происхожденіи музыки и опредъленію природной особенности последней въ ряду другихъ искусствъ, -- гдъ предполагается извъстное знакомство съ основами философской мысли и привычка къ нимъ. Справедливость требуеть добавить, что чтеніе этихъ страницъ *) кое-гдъ затрудняется и нъкоторою, если можно такъ выразиться, перегруженностью доказательствъ, приводимыхъ авторомъ, -- вслъдствіе чего руководящая нить порой ускользаеть. Но эти досадные моменты неспособны ослабить впечатленія, даваемаго цёлымъ. Впрочемъ, еще Ницше отмътилъ, что въ теоретическихъ Вагнеровскихъ сочиненіяхъ имъются «два Вагнера»: одинъ-образцовый стилисть, идеально владъющій нъмецкой прозой и захватывающій образностью своей речи; другой-философъ-полемистъ, неръдко насилующій свою природу художника, нагромождающій эпитеты и опредёленія и впадающій въ чрезмірныя отвлеченности. Этотъ второй Вагнеръ подчасъ какъ-бы старается воздъйствовать на читателя скорее эмоціонально, чемъ путемъ чистой логики. Но этотъ характерный дефектъ Вагнеровскихъ философическихъ писаній совершенно покрывается тёмъ геніальнымъ темпераментомъ, той великой артистичностью духа, которая всюду

чувствуется въ его статьяхъ. Въ частности, трактатъ «Бетховенъ» заключаеть въ себъ такъ много драгоцъннаго и увлекательнаго, что охотно прощаешь автору и странную, причудливую невыдержанность стиля, и частыя отступленія, и нарочитую тяжеловъстность иныхъ періодовъ.

Какъ уже было сказано, Вагнеръ поставилъ себъ здёсь задачей-выяснить чудодёйственную мощь музыки высшаго порядка, олицетворенную въ Бетховенъ, --именно музыки-драмы, --и вмъстъ съ тъмъ опредълить взаимоотношение великаго музыканта съ породившей его германской націей. Этимъ самымъ онъ хотыль также дать почувствовать своему народу, какимъ природнымъ геніальнымъ духомъ народъ этотъ можетъ и долженъ гордиться. Надо, къ тому-же, принять во вниманіе, что Бетховенская юбилейная дата совпала съ неожиданными побъдами германскаго оружія надъ французами *), --блестящими и надменными представителями «романскаго духа», которые казались столь сильными, что ихъ вліянію молча подчинялась вся Европа. Этимъ столкновеніемъ съ французами отчасти объясняется то, что въ третьей части своего сочиненія Вагнеръ довольно обстоятельно изслѣдуетъ «парижскую моду» и ея тлетворное, пагубное вліяніе на германцевъ. Много горькихъ истинъ

^{*)} Я говорю объ оригиналь и не знаю, какъ онъ покажутся читателю въ моемъ переводъ.

^{*)} Война 1870-71 гг.

говоритъ онъ по адресу французовъ, но въ его нападкахъ, необыкновенно искреннихъ и удивительно мъткихъ, не чувствуется ни малъйшаго шовинизма: какъ всегда, онъ слишкомъ высокъ для такихъ низменныхъ страстей и побужденій. Это признають, вѣдь, и лучшіе французы, -- какъ, напр., Альфредъ Эрнстъ, Шюрэ, Лиштанберже, превосходно понявшіе Вагнера. Свое полное безпристрастіе авторъ «Бетховена» лучше всего проявляетъ тъмъ, что попутно не щадитъ и нъмцевъ за ихъ «пошлость и ничтожность во внъшней жизни и манерахъ, порожденныхъ плохимъ подражаніемъ» тімъ-же французамъ. Въ 1870 г. онъ не могъ, конечно, не считаться съ крайне повышенной температурой патріотизма своихъ соплеменниковъ; и тъмъ не менъе въ заключение своей статьи онъ напоминаетъ имъ о мирныхъ побъдахъ надъ французами, давно уже одержанныхъ Бетховеномъ: такія побъды, приносящія человъчеству счастье, онъ и въ этотъ экстренный моментъ не боится поставить выше побъдъ, одержанныхъ силою оружія.

Выше я упомянуль о «двойственности» Вагнерапрозаика,—о Вагнерѣ «болѣе трудномъ» и Вагнерѣ «болѣе легкомъ». Однако для перевода на русскій языкъ едва-ли не оба эти Вагнера, вслѣдствіе своей крайней своебразности, представляють изрядныя труд-

ности *). Последнія могуть быть вполне оценены только тёмъ, кто настолько владеетъ обоими языками, что въ состояніи читать Вагнеровскую прозу и въ оригиналъ. Безъ сомнънія, переводчикъ такихъ вещей должень стремиться только къ тому, чтобы какъ можно върнъе схватить духъ и характеръ (а не детальную форму) подлинника и какъ можно яснъе передать мысли, выраженныя авторомъ на языкъ, имъющемъ совсъмъ иные законы построенія. Переводчику здёсь сплошь и рядомъ приходится, поэтому, самостоятельно конструировать фразы, разбивать одинъ цёльный періодъ оригинала на нёсколько частей, придаточныя и вводныя предложенія обращать въ главныя и самостоятельныя, прибъгать къ перестановкъ опредълительныхъ словъ, вычеркивать излишнія въ переводномъ языкъ частицы и наръчія,-кое-что, наоборотъ, добавляя,--и пр. и пр. Такой modus agendi переводчика представляется мнѣ элементарнымъ и въ подобныхъ случаяхъ-единственно возможнымъ; и если я остановился здёсь на этихъ неинтересныхъ поясненіяхъ, то только потому, что въ нашей переводной литературъ слишкомъ часто встръчаются, къ удивленію, весьма добросовъстные и тшательные, но безнадежные опыты съ иными прин-

^{*)} Эти трудности, разумѣется, совсѣмъ иного порядка, чѣмъ спеціальныя задачи музыкальнаго (эквиритмическаго) перевода Вагнеровскихъ драмъ (см. мое предисловіе къ "Золоту Рейна").

ципами перевода: стремясь къ апріорно недостижимому (въ громадномъ большинствѣ случаевъ), именно къ объективной передачѣ не только мысли автора, но и ея подлинной детальной формы, — переводчикъ только затемняетъ, а то и въ конецъ убиваетъ первую, т. е. главное. Правда, что переводъ, болѣе свободный въ смыслѣ пріемовъ и способовъ выраженія, всегда до извѣстной степени отражаетъ субъективность переводчика: но вѣдь это только вполнѣ нормальная неизоъжность.

Викторъ Коломійцовъ.

Іюль 1911 г.

БЕТХОВЕНЪ.

Бетховенъ.

(1870)

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Двторъ предлагаемой работы чувствовалъ себя обязаннымъ внести свою лепту въ дѣло празднованія столътней годовщины рожденія нашего великаго Бетховена. И такъ какъ онъ, авторъ, въ данномъ случав не располагалъ ничвмъ инымъ, что казалось-бы ему достойнымъ этого празднованія, то онъ ръшилъ письменно изложить свои мысли о значеніи Бетховенской музыки, — какъ она ему открылась. Форма, въ которую вылилось это сочиненіе, создалась такимъ образомъ: автору мысленно представилось, что онъ призванъ держать торжественную рѣчь на идеальномъ чествованіи великаго музыканта; и ввиду того, что на самомъ-то дѣлѣ рѣчь не подлежала чтенію, шавтору было предоставлено преимущество большей обстоятельности въ изложеніи мыслей, чѣмъ это было-

бы ему позволено при дѣйствительномъ чтеніи передъ реальной аудиторіей. Поэтому онъ могъ проводить читателя въ область болѣе глубокаго изслѣдованія музыкальной сущности и тѣмъ самымъ дать размышленію серьезно образованныхъ людей матеріалъ по философіи музыки; въ качествѣ такого именно матеріала настоящая работа и можетъ быть разсматриваема, — съ одной стороны. Въ тоже время, съ другой стороны, —авторъ все-же предполагалъ, что его сочиненіе дѣйствительно будетъ прочтено, какъ рѣчь передъ нѣмецкими слушателями, въ какой-нибудь опредъленный день этого изъ ряду вонъ знаменательнаго года; а такое предположеніе побудило его принять близко къ сердцу подымающія духъ событія переживаемаго нами времени. Авторъ имълъ возможность набросать себъ планъ и закончить свое сочинение подъ непосредственными впечатлѣніями этихъ событій; а потому онъ будетъ счастливъ, если его работа окажется полезной и въ томъ отношеніи, что поможетъ сильно возбужденному германскому чувству соприкоснуться съ самою глубью германскаго духа, соприкоснуться болѣе тѣсно, чѣмъ это было-бы достижимо при обычной жизни націи "со дня на

Ссли вообще представляется труднымъ — дать удовлетворительное объяснение истинному соотношению между великимъ артистомъ и его націей, то трудность задачи для сознательнаго изслъдователя достигаетъ высочайшей степени, разъръчь идетъ не о поэтъ и не о живописцъ или скульпторъ *), но о музыкантъ.

При сужденіи о поэтѣ и живописцѣ всегда имѣется въ виду, что вопросъ о томъ, какъ они воспринимаютъ явленія или формы міра,—прежде всего опредѣляется типической особенностью той націи, къ которой они принадлежатъ. Самый языкъ, на которомъ пишетъ поэтъ, уже является характернымъ показателемъ воззрѣній этого поэта; точно также, конечно, въ отношеніи формъ и красокъ живописца не менѣе очевидно существенное значеніе природы его страны и его народности. Музыканту-же ниродной языкъ, ни тотъ или иной внѣшній, видимый глазу обликъ его страны и народности не создаютъ непосредственной связи съ ними. Поэтому полагаютъ, что языкъ тоновъ принадлежитъ въ равной мѣрѣ всему человѣчеству и что мелодія

^{*)} Вагнеръ говоритъ: "nicht vom Dichter oder Bildner". Подъ словомъ "Bildner" онъ все время подразумѣваетъ, очевидно, не только скульптора, а вообще художника образнаго искусства (ваятеля, живописца, архитектора).

Прим. переводчика.

есть абсолютный языкъ, посредствомъ котораго музыкантъ говоритъ каждому сердцу. Однако при болъе близкомъ разсмотръніи мы видимъ, что можно очень опредаленно говорить о музыка намецкой, въ отличіе отъ музыки итальянской; и для выясненія этого отличія слѣдуетъ еще принять въ соображеніе одну національно-физіологическую черту, именно большое пристрастіе итальянца къ пѣнію, побудившее его развивать въ такомъ именно направленіи свою музыку, вслъдствіе его слабости въ этомъ отношеніи, была отмежована особая, ему лично принадлежащая область звуковъ. Но такъ какъ это различіе совершенно не касается сущности музыкальнаго языка, и всякая мелодія, течетъ-ли она изъ итальянскаго источника или-же изъ нъмецкаго, -- равномърно понятна, то это дифференцирующее обстоятельство можетъ быть принято только какъ чисто внѣшній моментъ, по своему опредъляющему вліянію никоимъ образомъ не соотвътствующій такимъ моментамъ, какъ языкъ въ отношеніи поэта или природныя особенности страны въ отношеніи живописца; ибо и тутъ тоже имѣются такія внѣшнія различія, въ видѣ благопріятныхъ или неблагопріятныхъ физическихъ условій, — и однако мы имъ отнюдь не приписываемъ существеннаго вліянія на духовное содержаніе художественнаго организма.

Во всякомъ случать тъ особыя черты, тъ характеристичные признаки, которыми опредъляется принадлежность музыканта къ его націи, навърно заложены глубже, чъмъ тъ особенности, которыя позволяють намъ узнать въ Гете и Шиллеръ нъмцевъ, въ Рубенсъ и Рембрандтъ нидерландцевъ, -хотя мы и должны, въ концѣ концовъ, допустить, что и тамъ, и здъсь эти признаки вырасли на однородной почвъ. Ближе изслъдовать эту почву былобы дъломъ тъмъ болъе увлекательнымъ, что это значило-бы - проникнуть въ глубь самой музыкальной сущности. Чего не удавалось до сего времени достичь путемъ діалектики, то самое можетъ легче открыться нашему сужденію, если мы поставимъ себъ болье опредъленную задачу—изслъдовать связь между великимъ музыкантомъ, столътнюю годовщину рожденія котораго мы нынѣ собираемся праздновать, съ германской націей, которая какъ разъ теперь вступила на путь столь серьезныхъ испытаній своей международной цѣнности.

Если мы, прежде всего, спросимъ себя объ этой связи во внѣшнемъ смыслѣ, то тутъ намъ будетъ не легко избѣжать оптическаго самообмана. Вѣдь объяснить себѣ такимъ образомъ даже и поэта—дѣло настолько тяжелое и трудное, что намъ пришлось, напримѣръ, терпѣливо прочесть наиглупѣйшія утвержденія одного знаменитаго нѣ-

мецкаго историка литературы о ходъ развитія Шекспировскаго генія; и будетъ вовсе неудивительно, если мы заблудимся еще больше, лишь только объектомъ подобныхъ-же разсужденій будетъ взятъ такой музыкантъ, какъ Бетховенъ. Съ большей увъренностью дозволено намъ заглянуть въ процессъ развитія Гете и Шиллера; ибо изъ ихъ собственныхъ извъстныхъ "сообщеній" мы получили нѣсколько точныхъ данныхъ. Однако и эти документы открываютъ намъ только ходъ эстетическаго образованія нашихъ поэтовъ, который болье сопровождалъ ихъ художественное творчество, чъмъ направлялъ его. О реальныхъ основахъ послѣдняго, именно о выборъ ими того или иного поэтическаго матеріала, мы собственно узнаемъ лишь тотъ фактъ, что тутъ явно главную роль играла не столько преднам френность, сколько случайность: подлинная тенденція, связанная съ ходомъ внѣшней міровой или народной исторіи, познается здѣсь въ наименьшей степени. Лишь съ величайшей осмотрительностью можно дълать заключенія и о вліяніи чисто личныхъ жизненныхъ впечатлѣній, воспринятыхъ этими поэтами, на выборъ и развитіе ихъ художественнаго матеріала: надо не упускать изъ виду, что эти впечатлѣнія никогда не дѣйствовали непосредственно, а только косвенно, дълая непріемпемымъ всякій положительный доводъ въ пользу

ихъ вліянія на личное поэтическое творчество. Наши изысканія по этому вопросу съ достовѣрностью показывають намъ одно только то, что видимый такимъ способомъ процессъ развитія могъ быть присущъ лишь нѣмецкимъ поэтамъ, а именно великимъ поэтамъ благороднаго періода германскаго возрожденія.

Но къ какимъ-же опредъленнымъ заключеніямъ можно было-бы придти по сохранившимся письмамъ Бетховена и чрезвычайно скуднымъ свъдъніямъ о внѣшнихъ событіяхъ, а также о внутреннихъ перипетіяхъ жизни нашего великаго музыканта? Что можно было-бы заключить по такимъ даннымъ О ИХЪ СВЯЗИ СЪ его музыкальными созданіями и съ тѣмъ процессомъ развитія, который мы замѣчаемъ въ этихъ созданіяхъ? Если-бы мы обладали всьми возможными, микроскопически точными толкованіями извѣстныхъ въ этомъ отношеніи фактовъ, то и тогда мы не имъли-бы въ рукахъ ничего болъе существенно-опредъленнаго, чъмъ то, что намъ даетъ, напримъръ, разсказъ о "Sinfonia eroica": какъ извѣстно, она была задумана Бетховеномъ первоначально во славу молодого генерала Бонапарта, имя котораго и было начертано композиторомъ на заглавномъ листѣ; но впослѣдствіи Бетховенъ вычеркнулъ это имя, когда узналъ, что Бонапартъ объявилъ себя императоромъ. Никогда никто изъ нашихъ поэтовъ не отмѣчалъ съ такой опредѣленностью на одномъ изъ самыхъ значительныхъ своихъ произведеній связанную съ нимъ тенденцію: и что-же мы можемъ извлечь изъ этой точнѣйшей помѣтки, чтобы судить объ одномъ изъ самыхъ изумительныхъ созданій музыки? Не покажется-ли намъ чистѣйшимъ сумасбродствомъ самая попытка рѣшиться въ серьезъ на толкованіе по такимъ даннымъ?

Я думаю, что самыя върныя свъдънія, которыя мы тутъ добудемъ о Бетховенъ-человъкъ, будутъ въ лучшемъ случаѣ точно такъ-же относиться къ Бетховену-музыканту, какъ генералъ Бонапартъ къ "Sinfonia eroica". Разсматриваемый съ этой стороны сознанія, великій музыкантъ долженъ навсегда остаться для насъ совершенной тайной. Чтобы все-таки какъ-нибудь разгадать послъднюю, необходимо, во всякомъ случаѣ, проложить совсъмъ иной путь, -оставивъ тотъ, которымъ можно слѣдовать, —по крайней мѣрѣ до извѣстной точки, за творчествомъ Гете и Шиллера; но и у нашихъ поэтовъ эта точка сотрется какъ разъ тамъ, гдъ ихъ творчество переходитъ изъ области сознательнаго въ область безсознательнаго, -т. е. тамъ, гдъ уже не поэтъ опредъляетъ эстетическую форму, а она сама опредъляется его внутреннимъ созерцаніемъ идеи. Но именно въ этомъ созерцаніи идеи

и лежитъ, опять-таки, все основное различіе между поэтомъ и музыкантомъ; и чтобы добиться тутъ нѣкоторой ясности, мы должны приступить къ болѣе глубокому изслѣдованію затронутой проблемы.

Разнородность, о которой здѣсь идетъ рѣчь, весьма явственно выступаетъ при сопоставленіи скульптора (или живописца)съ музыкантомъ; среднее мъсто между ними занимаетъ поэтъ-такимъ образомъ, что его сознательный обликъ склоняется въ сторону скульптора, тогда какъ на темномъ днъ своей безсознательности поэтъ соприкасается съ музыкантомъ. У Гете сознательная склонность къ образному искусству была такъ сильна, что въ одинъ важный періодъ своей жизни онъ считалъ себя прямо предназначеннымъ развивать это искусство и одно время даже готовъ былъ смотръть на свое поэтическое творчество, какъ на своего рода стремленіе высказаться, -- только чтобы возмъстить упущенное имъ поприще живописца: онъ со своею сознательностью былъ прекраснымъ геніемъ, ръшительно обращеннымъ въ сторону видимаго міра. Шиллеръ, наоборотъ, тяготълъ несравненно сильнъе къ разслъдованію подпочвы внутренняго сознанія, совершенно отдаленной отъ созерцательнаго познаванія, къразслѣдованію этой "вещи въ себъ" Кантовской философіи; изученіе послъдней вполнъ поглотило поэта въ главный

періодъ его высшаго развитія. Точка длительной встръчи обоихъ великихъ геніевъ лежала именно тамъ, гдъ поэтъ, какъ таковой, съ двухъ противоположныхъ крайностей попадаетъ на свое личное самосознаніе. Оба встрѣтились также и на ощущеніи сущности музыки; только у Шиллера это ощущение сопровождалось болѣе глубокимъ проникновеніемъ, чѣмъ у Гете, который и тутъ, соотвътственно со всъмъ своимъ направленіемъ, преимущественно постигалъ только пріятный, пластично - симметричный элементъ искусственной музыки, благодаря которому тональное искусство обнаруживаетъ аналогичное сходство съ архитектурой. Шиллеръ охватилъ глубже затронутую здъсь проблему; къ его сужденію примкнулъ затѣмъ и Гете, вслѣдствіе чего было рѣшено, что эпосъ тяготъетъ къ пластикъ, а драма-къ музыкъ. Съ нашимъ сужденіемъ объ обоихъ поэтахъ согласуется и тотъ фактъ, что Шиллеръ въ подлинной драмъ былъ счастливъе, чъмъ Гете; а этотъ, въ свою очередь, съ неоспоримой любовью пристрастился къ эпической образности.

Однако только Шопенгауеръ съ философской ясностью первый позналъ и указалъ положеніе музыки относительно другихъ изящныхъ искусствъ, надѣливъ ее природой, совершенно отличной отъ природы искусства образнаго и стихо-

творнаго. Онъ прежде всего изумляется тому, что музыка говоритъ языкомъ, который каждому вполнъ непосредственно ясенъ, такъ какъ для его уразумънія не нужно никакого посредничества понятій; этимъ-то музыка и отличается главнымъ и кореннымъ образомъ отъ поэзіи, единственнымъ матеріаломъ которой являются понятія, ибо поэзія прибъгаетъ къ наглядному поясненію идеи. По весьма понятному опредъленію философа, объектомъ всъхъ вообще изящныхъ искусствъ могутъ быть только идеи міра и главнъйшихъ міровыхъ явленій, въ Платоновскомъ смыслъ. И поэтъ выясняетъ эти идеи созерцательному сознанію, пользуясь понятіями, которыя сами посебь раціональны, что свойственно именно только его искусству. Между тъмъ Шопенгауеръ полагаетъ, что въ самой музыкъ заключается идея міра; и кто смогъ-бы вполнъ точно опредълить музыку при помощи понятій, тотъ добылъ-бы себъ философію, объясняющую міръ.

Если Шопенгауеръ предлагаетъ это гипотетическое объясненіе музыки, какъ парадоксъ, — ибо она собственно не можетъ быть выражена понятіями, — то съ другой стороны онъ все-же даетъ намъ единственно годный матеріалъ для дальнѣйшаго правильнаго освѣщенія своей глубокомысленной теоріи; и если нашъ философъ самъ не занялся

этимъ вопросомъ детальнѣе, то можетъ быть только потому, что онъ, какъ простой любитель, былъ недостаточно силенъ въ музыкѣ и недостаточно близокъ къ ней,—а кромѣ того его знаніе музыки еще не могло вполнѣ опредѣленно базироваться на значеніи именно того музыканта, творенія котораго впервые открыли міру эту глубочайшую тайну музыки. Ибо какъ разъ о Бетховенѣ нельзя судить исчерпывающимъ образомъ, если предложенный Шопенгауеромъ глубокомысленный парадоксъ не будетъ правильно поставленъ и освѣщенъ для философскаго познаванія.

Цѣлесообразнѣе всего, думается мнѣ, я воспользуюсь матеріаломъ, который намъ предоставленъ философомъ, если начну съ одного изъ примѣчаній Шопенгауера, гдѣ онъ говоритъ, что идея, добытая познаваніемъ отношеній, еще не есть сущность "вещи въ себѣ", а есть лишь обнаруженіе объективнаго характера вещи,—слѣдовательно все еще только ея видимости. "И даже этого характера,—такъ въ соотвѣтственномъ мѣстѣ продолжаетъ Шопенгауеръ,—мы не могли-бы понять, если-бы изъ другого источника не знали внутренней сущности вещей,—по крайней мѣрѣ приблизительно,—при помощи чувства. Именно сама эта сущность не можетъ быть понята изъ идей, ни вообще какимъ-нибудь чисто-объективнымъ познаваніемъ

поэтому она навѣкъ оставалась-бы тайной, еслибы мы не имѣли къ ней доступа совсѣмъ съ другой стороны. Лишь насколько всякое познающее существо является вмѣстѣ съ тѣмъ индивидуумомъ и черезъ это—частью природы, настолько ему открытъ доступъ внутрь природы, —въ его собственномъ самосознаніи, когда послѣднее обнаруживается самымъ непосредственнымъ образомъ и затѣмъ выявляется, какъ воля" *).

Присоединимъ къ этому то состояніе субъекта, которое Шопенгауеръ считаетъ необходимымъ для вступленія идеи въ наше сознаніе, шменно "временное преобладаніе интеллекта надъ волей или, съ точки зрѣнія физіологіи, -- сильное возбужденіе созерцательной дъятельности мозга, безъ всякаго возбужденія наклонностей или аффектовъ . Теперь намъ остается только точно понять поясненіе, непосредственно слѣдующее за цитированнымъ мѣстомъ, а именно, -что наше сознаніе имъетъ двъ стороны: частью оно является сознаніемъ самого себя, и это есть воля; частью-же-сознаніемъ другихъ вещей, и какътаковое, оно есть прежде всего созерцательное познавание внѣшняго міра, постиганіе объектовъ. "Чѣмъ болѣе выступаетъ впередъ одна сторона совокупнаго сознанія, тъмъ болъе отступаетъ назадъего другая сторона **).

^{*) &}quot;Міръ какъ воля и представленіе", т. П.

⁸⁸⁾ Ibid.

такъ и во снъ,--для нашего сознанія имъется иной міръ, воспринимаемый лишь посредствомъ слуха, дающій о себъ знать посредствомъ звучанія, — то есть въ собственномъ смыслѣ звуковой міръ рядомъ со свѣтовы мъ міромъ; объ этомъ звуковомъ мірѣ мы можемъ сказать, что онъ относится къ свътовому такъ, какъ сонъ къ бодрствованію: оба міра представляются намъ совсѣмъ одинаково отчетливыми, несмотря на то, что мы должны признать ихъ вполнъ различными. Какъ видимый міръ сна можетъ, однако, представиться нашему сознанію лишь посредствомъ особой дѣятельности мозга, точно также и музыка входитъ въ наше сознаніе лишь посредствомъ подобной-же мозговой дѣятельности. Но только эта послѣдняя ровно на столько-же отличается отъ дъятельности, направляемой зрѣніемъ, насколько мозговой органъ сна отличается отъ функціи мозга, возбужденнаго внъшними впечатлъніями бодрствованія.

Такъ какъ органъ сна не можетъ быть возбужденъ къ дѣятельности посредствомъ внѣшнихъ впечатлѣній, отъ которыхъ мозгъ въ такомъ своемъ состояніи совершенно замыкается, то это возбужденіе должно вызываться событіями во внутреннемъ организмѣ, которыя даютъ о себѣ знать нашему бодрствующему сознанію только въ видѣ смутныхъ ощущеній. Но эта внутренняя жизнь и

есть именно то, что насъ непосредственно роднитъ со всей природой и что, слъдовательно, дълаетъ насъ причастными самой сущности вещей, такъ что формы внѣшняго познаванія, -- время и пространство, -- уже не могутъ быть примѣнены въ нашихъ сношеніяхъ съ этой сущностью; отсюда Шопенгауеръ дълаетъ весьма убъдительное заключеніе о возникновеніи вѣщихъ сновъ, предвозвѣщающихъ событія или позволяющихъ видѣть самое отдаленное, а для рѣдкихъ, крайнихъ случаевъо наступленіи сомнамбулическаго ясновидѣнія. Отъ такихъ сновъ, когда они особенно страшны, мы просыпаемся съ крикомъ, въ которомъ находитъ себъ совсъмъ непосредственное выражение испуганная воля: этимъ крикомъ она увъренно и кратчайшимъ путемъ вступаетъ въ звуковой міръ, чтобы дать о себѣ знать въ міръ внѣшній. Если мы теперь представимъ себъ крикъ, —во всъхъ пониженіяхъ его силы, до нѣжно-жалобнаго плача включительно, -- какъ основной элементъ всякаго человъческаго обращенія къ слуху, и если мы найдемъ, что этотъ крикъ есть самое наинепосредственное проявленіе воли, ея кратчайшій и върнѣйшій путь во внѣшній міръ: въ такомъ случаѣ мы будемъ менъе удивляться непосредственной понятности крика, чъмъ возникновеню искусства изъ этого элемента; ибо съ другой стороны

мы понимаемъ, что и художественное творчество, и художественное созерцаніе могутъ имѣть мѣсто только по освобожденіи сознанія отъ возбужденій воли.

Чтобы объяснить себь это чудо, вспомнимъ здѣсь опять и прежде всего вышеприведенное глубокомысленное примъчаніе нашего философа, -- что мы не могли-бы понять даже тъхъ идей, которыя постигаются, соотвътственно ихъ природъ, только посредствомъ свободныхъ отъ воли, т. е. объективныхъ созерцаній, — если-бъ намъ не былъ открытъ другой доступъ къ лежащей въ ихъ основаніи сущности вещей, именно непосредственное сознаніе свсего "я". Кромъ того, это сознаніе надъляетъ насъ исключительною способностью понимать и внѣ насъ лежащую, опять-таки внутреннюю сущность вещей, притомъ такъ, что мы въ нихъ узнаемъ ту-же самую основную сущность, которая въ нашемъ самосознаніи являлась нашей собственной сущностью. Тутъ всякія заблужденія получались только отъ лицезрѣнія внѣ насъ и предъ нами лежащаго міра, который мы, въ сіяніи свъта, воспринимали какъ нъчто совершенно отличное отъ насъ; только созерцаніемъ (духовнымъ) идей, слъдовательно черезъ длинное промежуточное посредничество, достигали мы первой ступени правды, -- тогда какъ теперь постигаемъ уже не

отдъльныя, во времени и въ пространствъ разобщенныя вещи, но самый характеръ вещей "въ себъ". И яснъе всего говоритъ онъ намъ въ произведеніяхъ образнаго искусства, специфическимъ элементомъ и основной задачей котораго и является поэтому слѣдующее: воспользовавшись обманчивымъ сіяніемъ міра, раскинутаго предъ нашимъ взоромъ лучами свъта, въ высшей степени обдуманной игрою съ этимъ сіяніемъ обнаружить скрытую имъ идею міра. Сказанному соотвътствуетъ и то обстоятельство, что лицезрѣніе объектовъ, какъ таковыхъ, оставляетъ насъ холодными и безучастными, и только тогда, когда мы замъчаемъ отношенія разсматриваемыхъ объектовъ къ нашей волъ, въ насъ зарождаются возбужденія аффекта. Поэтому весьма правильно будетъ считать, что первымъ эстетическимъ принципомъ произведеній образнаго искусства является полное воздержаніе отъ этихъ сношеній съ нашей индивидуальной волей, -- воздержаніе, предоставляющее нашему эрънію тотъ покой, въ какомъ только и осуществимо для насъ чистое созерцаніе объекта лицомъ къ лицу съ его собственнымъ характеромъ. Однако тутъ всегда дъйствуетъ только наружный видъ вещей, который мы разсматриваемъ въ тѣ моменты, когда погружаемся въ свободное отъ воли эстетическое созерцаніе. Это успокоеніе при чистомъ

наслажденіи наружнымъ видомъ, будучи перенесено съ дѣйствія образнаго искусства на всѣ искусства, было затѣмъ выставлено какъ непремѣнное условіе эстетическаго наслажденія вообще, въ зависимости отъ чего и создалось понятіе красоты: на нашемъ языкѣ оно, въ соотвѣтствіи съ корнемъ слова, ясно связано съ понятіемъ "наружность" (какъ объектъ) и "зрѣніе" (какъ субъектъ) *).

Но сознаніе, дававшее намъ возможность постигать идею объекта однимъ только лицезрѣніемъ его наружнаго вида,—это сознаніе почусвовало себя, наконецъ, вынужденнымъ воскликнуть вмѣстѣ съ Фаустомъ: "Какое зрѣлище! Но увы,—только зрѣлище! Какъ мнѣ постичь тебя, безконечная природа?"

И вотъ этому восклицанію наинадежнѣйшимъ образомъ отвѣчаетъ музыка. Тутъ внѣшній міръ говоритъ намъ нѣчто съ несравненной ясностью, ибо звуковымъ дѣйствіемъ онъ сообщаетъ намъ черезъ посредство слуха именно и только то, о чемъ мы къ нему сами взываемъ изъ глубинъ нашего духа. Объектъ—услышанный тонъ— непосредственно совпадаетъ съ субъектомъ— съ тономъ

Прим. переводчика.

1/

изданнымъ; безъ всякаго посредничества понятій мы понимаемъ, что именно говоритъ намъ этотъ услышанный нами крикъ о помощи, этотъ звукъ жалобы или радости, и тотчасъ-же соотвътственно отвъчаемъ сами. Если изданный нами крикъ, звучащій плачемъ или блаженствомъ, есть самое непосредственное проявление волевого аффекта, то мы и воспринимаемъ подобный звукъ, проникающій въ насъ чрезъ посредство слуха, непремѣнно какъ проявленіе того-же самаго аффекта; и здѣсь уже никоимъ образомъ намъ не можетъ показаться, какъ въ сіяніи свѣта, что основная сущность внѣ насъ лежащаго міра не вполнѣ идентична съ нашимъ собственнымъ міромъ, --- а потому та мнимая пропасть, которая смущала наше зръніе, тотчасъ-же сама собой закрывается.

Итакъ мы видимъ, что изъ этого единства, изъ этого тожества нашей внутренней сущности съ сущностью внѣшняго міра возникаетъ нѣкое искусство; и прежде всего совершенно ясно, что это искусство должно подлежать совсѣмъ инымъ эстетическимъ законамъ, чѣмъ всякое другое. Однако всѣмъ эстетикамъ казалось предосудительнымъ производить "настоящее" искусство изъ такого, какъ имъ представлялось, чисто-патологическаго элемента, и они хотѣли признать это искусство дѣйствительнымъ лишь съ того момента,

^{*)} Здѣсь у Вагнера непереводимое на русскій языкъ сопоставленіе словъ "Schönheit", "Schein" и "Schauen".

когда его продукты предстанутъ предъ нами въ безстрастномъ свѣтѣ формъ, свойственныхъ образному искусству. Но Шопенгауеръ съ большимъ успѣхомъ научилъ насъ понимать, что чистый элементъ звукового искусства воспринимается нами, въ качествѣ идеи міра, уже не посредствомъ зрѣнія, а чувствомъ, таящимся въ глубинахъ нашего сознанія; и мы понимаемъ эту идею какъ непосредственное откровеніе единства воли. Это единство, исходя изъ единства человѣческой сущности, въ то-же время съ неоспоримой ясностью представляется нашему сознанію и какъ единеніе съ природой, которая то же, вѣдь, проникаетъ въ насъ посредствомъ звучанія.

¥

Мить думается, что чрезвычайно трудную задачу—выяснить сущность музыки, какъ искусства, мы ртышимъ втортье всего, если вникнемъ въ процессъ творчества вдохновеннаго музыканта. Это творчество во многихъ отношеніяхъ должно кореннымъ образомъ отличаться отъ творчества другихъ художниковъ. Мы вта признали, что творчеству послъднихъ должно предшествовать свободное отъ воли, чистое созерцаніе объектовъ, чтобы потомъ снова вызвать такое-же созерцаніе у зрителя—дта представленнаго произведенія искусства. Но музыкантъ вовсе и не имтетъ предъ собой такого объекта, который ему надо

было-бы путемъ чистаго созерцанія претворять въ идею; ибо его музыка сама является идеей міра, и въ ней онъ самъ непосредственно представляетъ свою сущность, тогда какъ въ другихъ искусствахъ эта сущность только будетъ представлена чрезъ посредство познаванія. Это можно понять только такъ, что воля индивидуальная, у образнаго художника путемъ чистаго созерцанія приведенная къ молчанію, -у музыканта пробуждается какъ воля универсальная: внъ предъловъ всякаго созерцанія, она дъйствуетъ самодовлъюще, вполнъ сознавая самое себя и свою универсальность. Отсюда-то и проистекаетъ весьма существенное различіе въ духовныхъ состояніяхъ -конципирующаго музыканта и проектирующаго живописца; отсюда-же и въ корнъ различныя дъйствія музыки и живописи. Здівсь-глубочайшее успокоеніе, тамъ-наивысшее возбужденіе воли. Это, однако, значитъ только то, что здъсь, у живописца, мы имъемъ дъло съ волей индивидуума, какъ такового, --- слъдовательно съ волей, ослъпленней своимъ иллюзорнымъ отличіемъ отъ сущности вещей, внъ ея лежащихъ, -- съ волей, которая только въ чистомъ, не преслѣдующемъ никакихъ цълей созерцаніи объектовъ поднимается надъ своею ограниченностью; напротивъ того, тамъ, у музыканта, воля тотчасъ-же покидаетъ всъ гра-

ницы индивидуальности и чувствуетъ себя единой: ибо чрезъ посредство слуха ей открыты врата, въ которыя міръ проникаетъ къ ней, какъ и она къ нему. Это чрезвычайное наводненіе, заливающее всѣ предѣлы явленій, неизбѣжно вызываетъ во вдохновенномъ музыкантъ экстатическій восторгъ, съ которымъ не можетъ сравниться никакой другой; въ такомъ состоянии восторга воля сознаетъ себя всемогущей волей вообще: ей не надо безмолвно воздерживаться отъ созерцанія, —нътъ, она громко возвѣщаетъ о себѣ, какъ сознавшая себя идея міра. Только одно состояніе можетъ превзойти ея восторженность: состояніе святого,--потому именно, что оно длительно и невозмутимо, тогда какъ восхищенное ясновидъніе музыканта должно чередоваться съ постоянно возвращающимся состояніемъ индивидуальнаго сознанія; и надо предположить, что это послѣднее состояніе музыканта тъмъ мучительнъе, чъмъ выше вдохновеніе возносило его надъ всѣми ограниченіями индивидуальности. Этими страданіями онъ расплачивается за тотъ экстазъ, въ которомъ онъ такъ несказанно восхищаетъ насъ; а потому музыкантъ, быть можетъ, заслуживаетъ съ нашей стороны еще большаго почитанія, чѣмъ другіе артисты: онъ почти священенъ для насъ. Ибо его искусство поистинъ относится къ совокупности другихъ искусствъ, какъ религія къ храму.

Мы видъли, что въ другихъ искусствахъ воля стремится совершенно превратиться въ познаніе. но что это ей удается лишь до извъстной степени: она молча пребываетъ въ самыхъ глубинахъ духа и словно ждетъ извнъ избавительной въсти о самой себъ. Если это извъстіе не удовлетворяетъ воли, она приводитъ сама себя въ состояніе ясновидънія и только тогда начинаетъ сознавать себя внѣ предѣловъ времени и пространства, въ полномъ единеніи со вселенной. Никакимъ языкомъ нельзя передать того, что видитъ воля въ такомъ своемъ состояніи. Какъ видініе глубочайшаго сна можетъ перейти въ бодрствующее сознаніе только будучи переведеннымъ на языкъ второго, аллегорическаго сна, непосредственно предшествующаго пробужденію, - точно такъ-же и воля создаетъ себъ для выявленія картины, непосредственно представившейся ея самосозерцанію, второй посредствующій органъ. Этотъ органъ воли одной стороной своей обращенъ къ внутреннему зрѣнію, другою-же соприкасается со вновь выступающимъ при пробужденіи внъшнимъ міромъ-при помощи звука, - этого единственно непосредственнаго и встръчающаго откликъ орудія самовыявленія. Воля кличетъ-и въ отвътномъ откликъ снова познаетъ себя; такимъ образомъ кликъ и откликъ становятся для нея утъшительной, а

затъмъ и восхитительной игрой, которую она ведетъ сама съ собою.

Безсонной ночью вышелъ я однажды на балконъ моего окна, глядъвшаго на большой каналъ Венеціи: словно глубокое сновидѣніе раскинулся въ тѣни предо мной сказочный городъ лагунъ. И вотъ въ безмолвнъйшей тишинъ раздался мощносуровый, жалобный кличъ гондольера, только-что проснувшагося на своей ладьъ. Онъ нъсколько разъ повторялъ этотъ кличъ на разные лады, и звуки летъли въ темноту ночи, пока откуда-то, изъ самаго далёка, вдоль спящаго канала не пронесся отвътный кличъ въ тъхъ-же звукахъ: я узналъ древнюю мелодическую фразу, полную тоски и грусти, на которую въ свое время были положены и знаменитые стихи Тассо, но которая сама по себъ навърное также стара, какъ венеціанскіе каналы съ ихъ населеніемъ. Мало-по-малу, послѣ торжественныхъ паузъ, дальнозвучный діалогъ оживился и, казалось, слился въ созвучіе, пока и вблизи, и вдали звуки опять не угасли, нѣжно замирая во вновь опустившейся дремотъ. Что могла-бы мнъ сказать о себъ залитая солнцемъ, кишащая пестротой Венеція дня, по сравненію съ тѣмъ, что съ безконечной глубиной принесло непосредственно моему сознанію это звучащее сновидъніе ночи?—Въ другой разъ бродилъ я по го-

рамъ, -- меня окружала величественная уединенность одной изъ высокихъ долинъ Ури. Былъ свътлый день, когда я услыхалъ въ сторонъ, съ горнаго пастбища, ярко-ликующій плясовой кличъ альпійскаго пастуха, посылаемый имъ куда-то въ далекую долину; вскоръ тотъ-же самый пастушій напъвъ задорно отвъчалъ ему оттуда, нарушая колоссальное молчаніе горнаго царства. Громадныя стѣны утесовъ примѣшали сюда свое эхо: въ оживленномъ состязаніи весело зазвучала строго молчаливая долина. -- Такъ съ крикомъ желанія просыпается дитя изъ ночи материнскаго лона, и успокаивающія ласки матери отвічають ему; такь охваченный томленіемъ юноша понимаетъ манящее пѣніе лѣсныхъ птицъ. Такъ обращаются съ рѣчью къ мыслящему человъку жалоба животныхъ, звуки воздушныхъ сферъ, бъщеный ревъ урагановъ; и человъкъ впадаетъ тогда въ состояніе, подобное сну, и въ этомъ состояніи онъ посредствомъ слуха начинаетъ воспринимать то, что было отъ него скрыто обманчивой разсѣянностью зрѣнія, — а именно, что его глубочайшая сущность составляетъ нѣчто единое съ глубочайшей сущностью всего имъ воспринятаго, и что только такимъ воспріятіемъ можетъ быть дѣйствительно постигнута сущность вещей, внѣ насъ лежащихъ.

Это снообразное состояніе, въ которое приводятъ насъ указанныя вліянія посредствомъ симпатическаго слуха, когда предъ нашимъ духовнымъ окомъ встаетъ тотъ другой міръ, откуда съ нами говоритъ музыкантъ, -- это состояніе легко постигается въ простомъ, всякому доступномъ экспериментъ. Въ самомъ дѣлѣ, опытъ показываетъ, что дѣйствіе музыки настолько ослабляетъ функціи нашего зрѣнія, что мы съ открытыми глазами перестаемъ видъть интенсивно. Мы испытываемъ это въ любомъ концертномъ запѣ, когда слушаемъ какую-нибудь музыкальную пьесу, дъйствительно насъ захватывающую: тутъ мы имъемъ передъ глазами нъчто до послѣдней степени разсѣивающее и само по себъ чрезвычайно безобразное, — нъчто такое, что могло-бы, во всякомъ случаѣ, совершенно отвлечь насъ отъ музыки и даже настроить на смѣшливый ладъ, если-бы зрѣніе наше оставалось интенсивнымъ. Не говоря уже о тривіально настраивающемъ видъ публики, -- вспомнимъ механическія движенія музыкантовъ, — такъ странно движущійся вспомогательный аппаратъ оркестроваго воспроизведенія. Кто не захваченъ музыкой, тотъ интересуется исключительно этимъ зрѣлищемъ; но оно, въ концѣ концовъ, совсѣмъ уже не мѣшаетъ тому, кого очаровала музыка. Это ясно показываетъ, что мы тутъ перестаемъ глядъть сознательно и

съ открытыми глазами впадаемъ въ состояніе, которое имѣетъ существенное сходство съ сомнамбулическимъ ясновидѣніемъ. Дѣйствительно, — только впавъ въ такое состояніе, мы можемъ всецѣло принадлежать міру музыканта. Изъ этого міра, больше ни съ чѣмъ не сравнимаго, музыкантъ раскладываетъ намъ, связно соединяя созвучія, своего рода сѣти, или-же окропляетъ чудесными каплями своихъ звуковъ нашу способность воспріятія такъ, что она теряетъ силу воспринимать что-бы то ни было, кромѣ нашего собственнаго внутренняго міра.

Чтобы нѣсколько разъяснить себѣ это волшебство, намъ лучше всего вернуться, опять-таки, къ аналогіи съ тѣмъ внутреннимъ процессомъ, посредствомъ котораго, по свѣтозарной теоріи Шопенгауера, видѣніе глубочайшаго сна, совершенно оторванное отъ бодрствующаго церебральнаго сознанія, какъ-бы переходитъ въ болѣе легкое сновидѣніе, непосредственно предшествующее пробужденію. Разсматриваемая аналогически съ этимъ процессомъ способность рѣчи у музыканта простирается отъ крика ужаса до отрадной, утѣшительной игры благозвучій. Стремленіе передать какъ можно понятнѣе тайну сокровеннѣйшаго сновидѣнія побуждаетъ музыканта прибѣгать ко всѣмъ промежуточнымъ, чрезвычайно богатымъ

градаціямъ и оттънкамъ выраженія; и такимъ путемъ онъ приближается, подобно второму, аллегорическому сну, -- къ представленіямъ бодрствующаго мозга, такъ что послѣдній получаетъ, наконецъ, возможность удержать сновидъніе для себя самого. Но въ этомъ приближеніи музыкантъ затрагиваетъ, какъ крайній моментъ своего разсказа, только представленія времени, тогда какъ представленія пространства онъ держитъ подъ непроницаемымъ покрываломъ: если-бъ онъ сорвалъ его, то тотчасъ-же сдълалъ-бы свое сновидъніе неузнаваемымъ. Гармонія звуковъ, не принадлежащая ни пространству, ни времени, остается собственнымъ и неотъемлемымъ элементомъ музыки; но въ то-же время творящій музыкантъ какъ-бы подаетъ руку бодрствующему міру явленій, для его вразумленія, — посредствомъ ритмическаго послѣдованія своихъ сообщеній, подобно тому какъ второй аллегорическій сонъ соединяется съ обычными представленіями индивидуума такъ, что обращенное ко внѣшнему міру бодрствующее сознаніе воспринимаетъ и удерживаетъ эту вторую форму сновидънія, хотя и чувствуетъ сейчасъ-же великое отличіе даже такого сновидънія отъ событій дѣйствительной жизни. Ритмическимъ расположеніемъ во времени своихъ звуковъ музыкантъ вступаетъ въ соприкосновение съ видимымъ

пластическимъ міромъ, благодаря именно аналогичности тъхъ законовъ, по которымъ движеніе видимыхъ тълъ понятно нашему созерцанію. Человъческій жесть, въ танцъ желающій стать понятнымъ при помощи закономърныхъ движеній, выразительно чередующихся, --- для музыки является, повидимому, тъмъ-же, чъмъ для свъта являются тъла: какъ свътъ не могъ-бы свътить, не преломляясь о тъла, -- точно такъ-же можно сказать, что безъ ритма музыка была-бы намъ непонятна. И вотъ именно здъсь, въ точкъ совпаденія пластики съ гармоніей, обнаруживается яснъе всего, что сущность музыки, постигаемая только по аналогіи со сномъ, совершенно отлична отъ сущности образнаго искусства. Послѣднее должно предоставить мыслящему созерцанію - судить о движеніи по жесту, которое фиксировано этимъ искусствомъ только въ пространствъ; музыка-же, наполняя насъ собою, выражаетъ внутреннюю сущность жеста съ такой непосредственной понятностью, что мы въ концъ концовъ даже теряемъ способность интенсивно воспринимать жестъ зрѣніемъ и понимаемъ этотъ жестъ, уже не видя его самого. Если сама музыка, такимъ образомъ, увлекаетъ наиболъе родственные ей моменты міра явленій въ свою, какъ мы ее назвали; область сна, -- то она дълаетъ это только затъмъ, чтобы посредствомъ предварительнаго чудеснаго превращенія какъ-бы направить созерцательное познаваніе внутрь, гдѣ оно получаетъ способность постигать сущность вещей въ самомъ непосредственномъ ихъ проявленіи,—способность какъ-бы истолковывать то сновидѣніе, которое въ глубочайшемъ снѣ представилось самому музыканту.

Что касается отношенія музыки къ пластическимъ формамъ міра явленій, равно какъ и къ понятіямъ, отвлеченнымъ отъ самихъ вещей, то тутъ невозможно сказать ничего яснѣе и понятнѣе того, что мы объ этомъ читаемъ въ соотвѣтственномъ мѣстѣ книги Шопенгауера; а потому оставимъ чрезмѣрную остановку на этомъ вопросѣ и обратимся къ главной задачѣ настоящаго изысканія, именно къ изслѣдованію природы самого музыканта.

Но предварительно мы должны еще остановиться на одномъ важномъ рѣшеніи, принятомъ въ эстетическихъ сужденіяхъ о музыкѣ, какъ искусствѣ. Въ самомъ дѣлѣ, мы видимъ, что на основаніи тѣхъ формъ музыки, которыми она какъ-будто примыкаетъ къ внѣшнимъ явленіямъ, дѣлаютъ весьма превратное заключеніе, предъявляя чрезвычайно нелѣпое требованіе къ самой ея сущности. Какъ уже выше было упомянуто, на музыку перенесены взгляды, порожденные исключи-

тельно изслѣдованіемъ образнаго искусства. Тотъ фактъ, что такое заблужденіе могло произойти, надо во всякомъ случав приписать только-что отмѣченному нами крайнему приближенію музыки къ видимой сторонѣ міра и его явленій. Въ этомъ направленіи музыкальное искусство дъйствительно испытало большой процессъ развитія, который такъ далеко подвинулъ непониманіе истиннаго характера музыки, что отъ нея стали требовать дѣйствія, подобнаго дѣйствію произведеній образнаго искусства: музыка должна, яко-бы, тоже возбуждать наслаждение прекрасными формами. Такъ какъ сюда одновременно присоединился и прогрессирующій упадокъ въ сужденіяхъ о самомъ образномъ искусствъ, то легко можно себъ представить, какъ глубоко была въ результатъ унижена музыка: отъ нея, въ сущности, стали требовать, чтобы она совершенно укротила свою собственную природу и доставляла намъ усладу только своей внѣшней стороной.

Музыка нѣчто говоритъ намъ только потому, что она съ опредѣленнѣйшей отчетливостью въ тончайшихъ оттѣнкахъ оживляетъ намъ самое общее понятіе чувства, которое само по себѣ туманно. Она, какъ таковая, можетъ быть отнесена только къ категоріи возвышеннаго, ибо ея звуки, наполняя насъ, даютъ сознанію по-

нятіе безпредъльности и тъмъ приводятъ его въ высшій экстазъ. То, что случается съ нами лишь какъ послѣдствіе нашего погруженія въ созерцаніе произведеній образнаго искусства, именно освобожденіе (временное) интеллекта отъ служенія индивидуальной волѣ, — наконецъ-то добытое нами, когда прекратились сношенія нашей воли съ разсматриваемымъ объектомъ, — этотъ требуемый эффектъ красоты на чувство музыка производитъ немедленно, при первомъ-же своемъ вступленіи въ дѣйствіе. Она тотчасъ-же отвлекаетъ интеллектъ отъ всякаго сношенія съ вещами, внѣ насъ лежащими; какъ чистая, отъ всякой предметности освобожденная форма, она словно закрываетъ намъ весь внъшній міръ, заставляя насъ глядѣть исключительно въ нашъ внутренній, а вмѣстѣ съ тѣмъ и во внутренній міръ всѣхъ вещей. Поэтому сужденіе о той или иной музыкѣ должно зиждиться на уразумѣніи тѣхъ законовъ, которые, даютъ возможность наиболѣе прямымъ путемъ шагнуть отъ "эффекта прекраснаго явленія",—а это есть первъйшее дъйствіе музыки уже при самомъ ея вступленіи въ дѣйствіе,-къ открытію ея собственнаго характера, поскольку въ ней дѣйствуетъ возвышенное. Ровно ничего не говорящей по своему характеру была-бы та музыка, которая все время занималась-бы призматической игрой съ

эффектомъ своего перваго вступленія и, слѣдовательно, неизмѣнно удерживала-бы насъ только въ тѣхъ сношеніяхъ, которыя завязываетъ съ видимымъ міромъ самая внѣшняя сторона музыки.

Дъйствительно, музыкъ дано было длительное развитіе единственно въ эту сторону, а именно въ сторону систематической структуры ея ритмическихъ періодовъ; это обстоятельство, во-первыхъ. привело къ тому, что музыку стали сравнивать съ архитектурой, а во-вторыхъ-приписало музыкъ качество "обозримости", что и должно было подвергнуть ее помянутому ложному сужденію по аналогіи съ образнымъ искусствомъ. Заключенная, такимъ образомъ, въ тъснъйшія рамки банальныхъ формъ и условностей, она показалась, напр. самому Гете, весьма примънимой для нормировки поэтическихъ концепцій. Долгое время жрецы эстетики считали истиннымъ и единственно отраднымъ результатомъ развитія тональнаго искусства-возможность только такъ играть съ огромной силой музыки, стиснутой въ эти условныя формы, чтобы избъжать ея подлиннаго дъйствія, т. е. изъявленія внутренней сущности всѣхъ вещей, —словно уклоняясь отъ опасности наводненія. И вотъ. пъломъ нашего великаго Бетховена было: чрезъ эти формы проникнуть въ глубочайшую сущность музыки, отсюда бросить обратно во внѣшній міръ сокровенный свътъ ясновидца и въ самихъ музыкальныхъ формахъ снова показать намъ ихъ внутреннее значеніе. Поэтому мы должны изобразить Бетховена, какъ совокупность всего истинно существеннаго, что характеризуетъ музыканта.

Придерживаясь не разъ приведенной нами выше аналогіи съ "аллегорическимъ сномъ", мы представляемъ себъ музыку какъ искусство, сообщающее внашнему міру та виданія, которыми было возбуждено внутреннее созерцаніе. Въ такомъ случаѣ мы должны допустить, что для этой передачи имъется спеціальный органъ, подобный "органу сна",---нѣкая церебральная способность, дающая музыканту возможность воспринимать "міръ въ себъ ", закрытый для всякаго иного познаванія; это око, обращенное внутрь, становится слухомъ, когда обращается въ сторону внъшняго міра. Если мы захотимъ мысленно представить себъ, въ точнъйшемъ изображеніи, сокровенную картину (сновидѣніе) міра, воспринятую этимъ органомъ, то намъ стоитъ только прослушать одно изъ знаменитыхъ церковныхъ сочиненій Палестрины: оно преисполнитъ насъ ощущеніемъ истины. Здѣсь ритмъ чувствуется только какъ чередованіе гармоническихъ аккордовъ; безъ нихъ-же, т. е. какъ самостоятельное симметричное послѣдованіе во времени, онъ вовсе не существуетъ. Здъсь, поэтому, послъдованіе во времени еще такъ непосредственно связано съ безвременной и безпространственной сущностью гармоніи, что совершенно невозможно понять такую музыку съ помощью законовъ времени. Единственное ритмическое послѣдованіе (въ смыслъ времени) обнаруживается въ такой музыкальной пьесъ только въ видъ нъжнъйшихъ измъненій одной основной краски, которая проходитъ предъ нами въ разнообразнъйшихъ оттънкахъ, при строгомъ соблюденіи отдаленнѣйшихъ степеней родства; и никакого рисунка линій мы въ этихъ свъто-тъняхъ замътить не можемъ. Но такъ какъ сама эта краска, въ свою очередь, появляется не въ пространствъ, то мы получаемъ здъсь почти столь-же безвременную, какъ и безпространственную картину, — совершенно духовное откровеніе. Это откровеніе несказанно трогаетъ насъ, потомучто оно въ то-же время открываетъ нашему сознанію глубочайшую сущность религіи, свободную отъ всякихъ догматическихъ фикцій.

Съ другой стороны, представимъ себѣ теперь какую-нибудь танцовальную музыку или симфоническій отрывокъ, написанный на танцеобразный мотивъ, —или, наконецъ, хотя-бы подлинный оперный номеръ: мы почувствуемъ, что нашею фантазіею тотчасъ-же овладѣваетъ регулярное чередованіе ритмическихъ періодовъ, которое придаетъ

мелодіи пластичность и дѣлаетъ ее убѣдительной. Музыку, развившуюся на этомъ пути, весьма правильно называютъ "свѣтской", въ противуположность музыкѣ "духовной". Въ другомъ мѣстѣ я съ достаточной опредъленностью высказался о принципѣ этого развитія *) и потому касаюсь здѣсь его направленія только въ смыслѣ вышеупомянутой аналогіи съ аллегорическимъ сномъ: повидимому, пробудившееся око музыканта пристально вглядывается теперь въ явленія внѣшняго міра постольку, поскольку ихъ внутренняя сущность немедленно становится ему понятной. Внъшніе законы, опредъляющие это созерцание жеста и, наконецъ, всякаго движущагося явленія жизни, становятся для музыканта законами ритмики, по которымъ онъ строитъ свои періоды противопоставленія и чередованія. Чіть больше исполнены эти періоды истиннаго духа музыки, тъмъ меньше будутъ они казаться намъ архитектоническими знаками и отвлекать наше вниманіе отъ чистаго дъйствія музыки. Напротивъ того тамъ, гдъ все тотъ-же внутренній духъ музыки ослабляется въ

Прим. автора.

своемъ истинномъ проявленіи во имя планомърнаго, колонообразнаго расположенія ритмическихъ межей, — тамъ будетъ насъ плѣнять только эта внъшняя планомърность; интересуясь преимущественно послъдней, мы поневолъ понизимъ и наши требованія къ самой музыкѣ.—Черезъ это музыка утрачиваетъ свою возвышенную невинность; она становится безсильной искупить вину явленія, т. е. она уже не раскрываетъ сущности вещей, а сама вплетается въ обманчивое явленіе вещей внѣшняго міра. Ибо въ придачу къ такой музыкѣ люди желаютъ что-нибудь еще и вид ѣть; и это видимое становится въ данномъ случаъ главнымъ, -- какъ это весьма ясно показываетъ "опера", гдъ внъшній спектакль, балетъ и т. д. сами по себъ стараются увлечь и плѣнить, что съ достаточной ясностью доказываетъ вырождение примѣняемой тутъ музыки.

Уяснимъ себѣ все до сихъ поръ сказанное, глубже вникнувъ въ процессъ развитія Бетховенскаго генія; и чтобы выйти изъ области общихъ положеній и разсужденій, разсмотримъ

^{*)} А именно, вкратцѣ и въ общихъ чертахъ я изложилъ это въ сочиненіи, озаглавленномъ "Музыка будущаго", которое было издано въ Лейпцигѣ лѣтъ 12 тому назадъ, но ровно никакого вниманія на себя не обратило; оно включено въ седьмой томъ "П. С. С." и теперь можетъ быть вновь рекомендовано къ свѣдѣнію интересующихся.

прежде всего, какъ фактически развивался собственный стиль нашего композитора.

Призваніе музыканта къ своему искусству, его способности къ нему могутъ сказаться, конечно, не иначе, какъ въ той или иной степени воздъйствія на него чужой музыки, исполненіе которой онъ слышитъ. Какъ и что именно побудило данное дарованіе къ внутреннему самосозерцанію, къ прозрѣнію глубочайшаго сновидѣнія міра,—это мы можемъ уяснить себъ только тогда, когда саморазвитіе артиста достигаетъ конечной цъли; ибо до того времени онъ повинуется законамъ воздъйствія внъшнихъ впечатльній, и на музыканта вліяютъ прежде всего музыкальныя произведенія мастеровъ его времени. И вотъ мы видимъ, что продукты оперы увлекали Бетховена чрезвычайно мало; напротивъ, впечатлѣнія современной ему церковной музыки затрагивали его больше. Métier піаниста, за который онъ взялся, чтобы "быть чѣмънибудь" въ области музыки, привелть его, однако, къ длительному и весьма интимному соприкосновенію съ фортепіанными произведеніями мастеровъ его эпохи, когда образцовой формы достигло развитіе "сонаты". Бетховенъ, можно сказать, былъ и остался композиторомъ сонатъ: ибо для большинства его лучшихъ инструментальныхъ композицій основная сонатная форма служила вуалью,

сквозь которую онъ глядѣлъ въ царство звуковъ, или-же посредствомъ которой онъ, выплывая изъ этого царства, становился намъ понятнымъ. Хотя въ иныхъ формахъ, именно смѣшанно-вокальныхъ, у него имѣются тоже совсѣмъ необычайныя про-изведенія, онъ все-же касался этихъ формъ только мимоходомъ, какъ-бы въ видѣ опыта.

Закономърная сонатная форма, пригодная для всъхъ временъ, была развита Эмануиломъ Бахомъ, Гайдномъ и Моцартомъ. Она явилась плодомъ компромисса, въ который вступили нѣмецкій музыкальный духъ съ итальянскимъ. Внъшній характеръ сонаты былъ ей приданъ тенденціей ея практическаго примъненія: съ сонатой піанистъ представлялся губликъ, которую онъ, какъ таковой, долженъ былъ услаждать своею техническою законченностью и, вмъстъ съ тъмъ, пріятно занимать, какъ музыкантъ. Это былъ уже не Себастіанъ Бахъ, собиравшій своихъ прихожанъ передъ церковнымъ органомъ или призывавшій туда знатока и товарища на состязаніе: широкая пропасть отдѣляла чудеснаго мастера фуги отъ воздълывателей сонаты. Искусство фуги изучалось послѣдними просто какъ средство укрѣпиться въ музыкальной наукъ, въ сонатъ-же это искусство примънялось ими только какъ техническая затъйливость: суровыя послъдовательности чистаго контрапункта усту-

пили мѣсто склонности къ устойчивой "эвритміи". Заполнить готовую схему такой эвритміи въ смыслѣ итальянской эвфоніи, —вотъ что стало, повидимому, единственно отвѣчать тѣмъ требованіямъ, которыя предъявлялись музыкъ. Въ инструментальныхъ композиціяхъ Гайдна мы какъ-будто видимъ предъ собой скованнаго демона музыки и дътскую простоту прирожденнаго старичка, играющихъ другъ съ другомъ. Не безъ основанія полагаютъ, что преимущественно музыка Гайдна послужила образцомъ для раннихъ работъ Бетховена; считаютъ даже, что и въ болѣе зрѣлый періодъ своего развитія его геній обнаруживаетъ больше родства съ Гайдномъ, чѣмъ съ Моцартомъ. Странная черта въ поведеніи Бетховена относительно Гайдна бросаетъ свътъ на своеобразность этого родства. Гайднъ считался учителемъ Бетховена, между тъмъ послъдній ни въ какомъ случат не хотълъ признать себя его ученикомъ и даже позволялъ себѣ по отношенію къ старику обидныя проявленія своей юношеской заносчивости. Онъ, кажется, чувствовалъ себя близкимъ Гайдну настолько, насколько прирожденный мужъ можетъ быть близокъ старому ребенку. Неукротимый демонъ собственной внутренней музыки, скованный подъ видимостью формальнаго сходства съ учителемъ, гналъ ученика неизмъримо выше и дальше

этихъ формъ, побуждая его проявить свою истинную силу; а она могла проявляться только съ непонятной, дикой суровостью, какъ и вообще всѣ дѣйствія, все поведеніе этого огромнаго музыканта.

О встрѣчъ юноши-Бетховена съ Моцартомъ намъ разсказываютъ, что Бетховенъ съ неудовольствіемъ вскочилъ изъ-за фортепіано, послѣ того какъ ему пришлось сыграть сонату, чтобы отрекомендовать себя маэстро: юношѣ хотѣлось проявить свои качества въ свободной фантазіи. Мы знаемъ, что онъ разыгралъ-таки и то, что хотълъ, причемъ произвелъ на Моцарта столь сильное впечатлѣніе, что тотъ сказалъ своимъ друзьямъ: "Вотъ отъ него міръ кое-что услышитъ! Таково было мнъніе Моцарта въ то время, когда его собственный геній, вполнъ уже сознавшій свои силы, находился въ поръ высшаго расцвъта. Къ саморазвитію Моцартъ постоянно стремился, но оно долго задерживалось невъроятными отклоненіями въ сторону, въ тягостныхъ тискахъ бъдственной карьеры музыканта. Приближенія своей слишкомъ ранней смерти Моцартъ, какъ мы знаемъ, ожидалъ съ горькимъ сознаніемъ, что только теперь онъ могъ-бы показать міру, на что собственно онъ способенъ въ области музыки.

Напротивъ того, мы видимъ, что молодой Бетховенъ сразу сталъ лицомъ къ лицу съ міромъ.

полный смѣлаго темперамента, и этотъ темпераментъ всю жизнь держалъ его въ какой-то дикой независимости отъ міра. Его огромное сознаніе своихъ силъ, питаемое необыкновенной гордостью духа, во всякое время могло давать отпоръ фривольнымъ претензіямъ, что предъявлялъ къ музыкъ жаждущій наслажденія міръ. Противъ навязчивости изнѣженнаго вкуса онъ призванъ былъ хранить сокровище неизмъримой цѣнности. Въ тѣхъ самыхъ музыкальныхъ формахъ, въ которыхъ могло пока проявляться только пріятно-милое искусство,---Бетховену предстояло пророчески возвѣстить людямъ глубочайшее созерцательное проникновеніе въ міръ звуковъ. И онъ, дъйствительно, всегда былъ похожъ на одержимаго: къ нему вполнѣ приложимо то, что Шопенгауеръ сказалъ о музыкантъ вообще,--а именно, что "музыкантъ изрекаетъ величайшую мудрость на языкѣ, непонятномъ его разуму".

Съ "разумомъ" своего искусства онъ столкнулся только въ томъ духъ времени, который развилъ формальную постройку внѣшнихъ лѣсовъ музыки. Поистинъ убогій разумъ говорилъ ему съ этихъ лѣсовъ, съ этихъ архитектоническихъ періодовъ: Бетховенъ услыхалъ, что даже великіе мастера временъ его юности копошились тамъ съ банальнымъ повтореніемъ фразъ и безсодержательныхъ украшеній, съ аккуратно и симметрично рас-

предъленными контрастами силы и мягкости, съ важнаго вида прописными вступленіями въ столькото и столько-то тактовъ, съ неизбѣжными воротами изъ столькихъ-то и столькихъ-то полукадансовъ для благодатной шумливости заключительной каденціи. Это былъ разумъ, строившій оперную арію, диктовавшій нанизываніе другъ на друга оперныхъ номеровъ, -- разумъ, которымъ геній Гайдна былъ принужденъ безконечно перебирать свои четки. Ибо и религія тоже исчезла изъ церкви съ музыкой Палестрины: искусственный формализмъ іезуитской практики контръ-реформировалъ религію, а вмъстъ съ ней и музыку. Такъ тотъ-же іезуитскій стиль въ архитектурѣ послѣднихъ двухъ стольтій заслоняетъ отъ взора серьезнаго обозрьвателя почтенный и благородный Римъ; такъ изнъжилась и стала приторной достославная итальянская живопись; такъ возникла, подъ тѣмъ-же руководствомъ, "классическая" французская поэзія, въ духоубійственныхъ законахъ которой мы можемъ найти выразительную аналогію съ законами построенія оперной аріи и сонаты.

Мы знаемъ, что именно "германскій духъ", столь страшный и ненавидимый "по ту сторону горъ",—всюду, а въ томъ числѣ и въ сферѣ искусства, выступилъ противъ этой искусно руководимой порчи всеевропейскаго народнаго духа и

явился его избавителемъ. Если мы въ другихъ художественныхъ областяхъ чествовали нашихъ Лессинга, Гете, Шиллера и др., какъ нашихъ спасителей отъ окончательной порчи и гибели то сегодня надо, указать и на этого музыканта Бетховена, — надо удостовърить, что чрезъ него, такъ ясно говорившаго со всѣми народами на чистѣйшемъ изъ языковъ, германскій духъ избавилъ человѣчество отъ глубокаго позора. Ибо истинную сущность музыки, низведенной до степени простого развлеченія, онъ поднялъ на самую вершину ея высокаго призванія и тъмъ открылъ намъ пониманіе того искусства, въ которомъ міръ объясняетъ самъ себя всякому сознанію, -- объясняетъ такъ ясно и опредѣленно, какъ глубочайшая философія могла-бы объяснить его только свъдущему въ философскихъ понятіяхъ мыслителю. И единственно на этомъ основано взаимоотношение великаго Бетховена и германской націи; съ этимъ взаимоотношеніемъ мы и постараемся теперь ближе ознакомиться, разсмотрѣвъ нѣкоторыя особенныя черты жизни и творчества Бетховена.

Ничто не можетъ поучительнъе объяснить намъ соотношенія между художественнымъ modus agendi съ одной стороны и построеніями на основаніи выводовъ разума съ другой, чѣмъ точное уразумѣніе того образа дѣйствій, котораго держался

Бетховенъ, развивая свой музыкальный геній. Еслибы онъ сознательно измѣнилъ сложившіяся до него внъшнія формы музыки, или даже вовсе отвергъ ихъ, то это было-бы дъйствіемъ разума; но мы никогда не найдемъ у него никакихъ слъдовъ такого раціонализма. Конечно, еще не бывало художника, менъе размышлявшаго о своемъ искусствъ, чъмъ Бетховенъ. Между тъмъ, уже отмъченная нами суровая бурность его человъческой природы показываетъ, что онъ воспринималъ съ чувствомъ личнаго страданія тѣ заповѣдныя границы, въ которыхъ внѣшнія формы держали его геній, — воспринималъ почти такъ-же непосредственно, какъ и всякую другую принудительную условность. Но онъ реагировалъ на это исключительно тъмъ, что необыкновенно смъло и свободно развивалъ свой внутренній геній; и этого развитія ничъмъ нельзя было задержать, --- ни даже тъми стъснительными формами. Никогда не измѣнялъ онъ кореннымъ образомъ ни одной изъ установившихся формъ инструментальной музыки; можно доказать неоспоримо, что въ его послъднихъ сонатахъ, квартетахъ, симфоніяхъ и т. д. структура та-же самая, что и въ его первыхъ произведеніяхъ. Но сравните только эти вещи между собой! Сопоставьте, напримъръ, восьмую симфонію (F-dur) со второй (D) и изумитесь тому совершенно новому міру, который намъ

открывается въ восьмой симфоніи, написанной почти въ тѣхъ-же самыхъ формахъ, что и вторая!

Тутъ опять-таки сказывается своеобразіе германской природы: она столь глубоко и богато одарена въ духовномъ отношеніи, что умѣетъ любую форму запечатлъть своею сущностью, внутренне преобразовывая эту форму и тъмъ устраняя необходимость въ ниспроверженіи ея внѣшности. Такимъ образомъ германецъ является не революціонеромъ, а реформаторомъ, и потому-то онъ располагаетъ, въ концѣ концовъ, такимъ богатствомъ формъ для изъявленія своей внутренней сущности, какъ никакая другая нація. У француза, повидимому, этотъ глубокій внутренній источникъ изсякъ; а потому онъ, испугавшись внѣшней формы того попоженія, въ какое попадаетъ его государство или его искусство, считаетъ необходимымъ тотчасъ-же приступать къ совершенному разрушенію этой формы, какъ-бы предполагая, что другая, болъе пріятная форма должна затъмъ образоваться сама собою. Такъ что онъ страннымъ образомъ всегда возстаетъ только противъ своего-же собственнаго природнаго свойства, которое и въ новой формъ оказывается не болъе глубокимъ, чъмъ въ прежней, такъ испугавшей его. А развитію германскаго духа нисколько не повредило и то обстоятельство, что наша поэтическая литература средневъковья питалась переложеніемъ французскихъ рыцарскихъ поэмъ: внутренняя глубина какого-нибудь Вольфрама фонъ-Эшенбаха создавала въчные образцы поэзіи изъ того матеріала, который въ сохранившейся первоначальной формѣ своей интересуетъ насъ теперь не болѣе, какъ курьезъ. Такъ заимствовали мы и классическую форму римской и греческой культуръ, подражали ихъ языку, ихъ стихамъ, сумъли усвоить себъ античное міросозерцаніе, —однако всегда давая высказаться въ чужихъ формахъ только нашему собственному внутреннему Точно также мы получили и музыку со всъми ея формами отъ итальянцевъ; а что именно мы внесли въ эти формы своего,--это мы теперь видимъ предъ собой въ непостижимыхъ твореніяхъ Бетховенскаго генія.

Было-бы безумной затѣей — пытаться "объяснить" сами эти творенія. Представляя ихъ себѣ одно за другимъ въ очередномъ порядкѣ, мы съ все возрастающей ясностью можемъ видѣть, какъ проникаетъ геній въ музыкальную форму. Получается впечатлѣніе, будто мы въ твореніяхъ его предшественниковъ видѣли нѣкій раскрашенный транспарантъ при дневномъ свѣтѣ; будто мы имѣли предъ собой нѣчто до очевидности несравнимое, по рисунку и краскамъ, съ произведеніемъ истиннаго живописца, — нѣчто принадлежащее къ гораздо

низшему роду искусства, -- какое-то псевдо-художественное произведеніе, на которое поэтому настоящіе знатоки искусства смотрятъ сверху внизъ; оно выставлялось, какъ "украшеніе", на всякихъ празднествахъ, за княжескими объдами, для развлеченія пышнаго общества и т. п., и виртуозъ помъщалъ свою виртуозную законченность въ качествъ огня, предназначеннаго освъщать картину,---не позади транспаранта, а спереди. Но вотъ Бетховенъ ставитъ эту картину въ молчаніе ночи, между міромъ явленій и глубоко-внутреннимъ міромъ сущности всъхъ вещей; изъ этого второго міра, позади транспаранта, онъ направляетъ теперь на картину свътъ ясновидца, - и вотъ она чудеснымъ образомъ воскресаетъ на нашихъ глазахъ, и предъ нами стоитъ второй міръ, о которомъ никакой шедевръ никакого Рафаэля не могъ намъ дать даже приблизительнаго представленія.

Могущество музыканта нельзя здѣсь объяснить себѣ иначе, какъ дѣйствіемъ волшебства. Конечноже мы впадаемъ въ зачарованное состояніе, когда слушаемъ настоящую Бетховенскую звуковую картину: во всѣхъ частяхъ музыкальной пьесы, гдѣ мы при трезвомъ, нормальномъ состояніи нашего ума можемъ замѣтить только родъ цѣлесообразной техники, строющей форму,— всюду теперь мы воспринимаемъ сверхъестественную жизненность,—

то деликатную, то устрашающую подвижность, пульсирующій трепетъ, радость, плачъ, томленье, робость и восторгъ, -и все это, вмѣстѣ съ тѣмъ, видимо исходитъ въ своемъ движеніи изъ сокровеннъйшей глубины нашего собственнаго духа. Ибо въ музыкальномъ образѣ Бетховена весьма важнымъ моментомъ для исторіи искусства является то, что здъсь каждый техническій случай, посредствомъ котораго художникъ вступаетъ въ условное сношеніе съ внѣшнимъ міромъ, чтобы стать понятнымъ, -- всякій такой пріемъ самъ пріобрътаетъ величайшее значеніе, какъ непосредственное изліяніе духа. Какъ я уже выразился гдф-то въ другомъ мѣстѣ, --- здѣсь нѣтъ болѣе никакой прикрасы, никакой рамки для мелодіи: здѣсь все и вся становится мелодіей, -- каждый голосъ сопровожденія, каждая ритмическая нота, даже сама пауза.

Совершенно невозможно говорить о подлинной сущности Бетховенской музыки, не впадая тотчасъ-же въ восторженный тонъ. И такъ какъ мы уже вникали, подъ руководствомъ философа, въ истинную сущность музыки вообще (а этимъ путемъ объяснялась и Бетховенская музыка въ особенности), то отступимъ отъ невозможнаго и сосредоточимъ наше вниманіе на самой личности Бетховена, какъ на фокусъ свътовыхъ лучей того чудеснаго міра, который отъ нея исходитъ.

Добытое "на лету" приносится въ жертву наслажденіямъ жизни. Если князь Гайдна требовалъ, чтобы всегда было готово новое развлеченіе, то и Моцарту не менње того приходилось изыскивать со дня на день что-нибудь новое, чтобы привлекать публику. Летучая бъглость въ концепціи и налаженная рутина въ выполненіи, --- вотъ главные моменты, въ основъ объясняющие характеръ ихъ произведеній. Свои дъйствительно благородные шедевры Гайднъ написалъ только въ старости, наслаждаясь довольствомъ, которое было упрочено также и заграничною славой. Но Моцартъ никогда не достигъ такого довольства: его прекраснъйшія творенія набросаны въ промежутки между крайнею веселостью даннаго мгновенія и страхомъ предъ ближайшимъ часомъ. И вотъ надъ душой его всегда стояла, опять-таки, эта щедро оплачиваемая княжеская служба, какъ вожделънная устроительница жизни, болъе благопріятной для художественнаго творчества. Чего не платилъ ему императоръ, то предлагалъ ему король прусскій: онъ оставался върнымъ "своему императору" и за то погибалъ въ нищетъ.

Если-бы Бетховенъ, выбирая направленіе жизни, руководился холодными указаніями своего разума, то можно быть увъреннымъ,—въ виду судьбы обоихъ его великихъ предшественниковъ,—что путь

его оказался-бы не болѣе правильнымъ, чѣмъ тотъ, по которому онъ въ дъйствительности пошелъ, ведомый прирожденною наивностью своего характера. Прямо удивительно, какъ все было здъсь предопредѣлено мощнымъ инстинктомъ самой природы! Этотъ инстинктъ ясно проявился въ той рѣшительности, съ какой Бетховенъ отшатнулся отъ жизненной тенденціи въ духѣ Гайдна. Одного взгляда на молодого Бетховена было вполнъ достаточно, чтобы всякому князю отбить охоту дълать его своимъ капельмейстеромъ. Еще замъчательнъе даетъ себя знать совокупность своеобразныхъ особенностей Бетховенской природы въ тъхъ ея чертахъ, которыя охранили его отъ судьбы, постигшей Моцарта. Подобно послѣднему, онъ совершенно безъ средствъ былъ кинутъ въ міръ, гдъ цънится только матеріально-полезное, гдъ прекрасное вознаграждается только тогда, когда оно угождаетъ жаждъ наслажденій, и гдъ возвышенное должно оставаться совсъмъ безъ всякаго воздаянія. И Бетховенъ сразу почувствовалъ, что для него исключена возможность завоевать благосклонность міра посредствомъ "красиваго". Что "красота" и "изнѣженность" должны были быть пля Бетховена синонимами, -- это съ восхитительной ясностью и осмысленностью выразилось уже въ самомъ строеніи его лица. Міръ явленій имълъ

Итакъ, —изслъдуемъ, откуда Бетховенъ добылъ такую силу. Но въдь тайна природнаго дарованія остается недоступной для нашего изслѣдованія, и мы безъ вопросовъ должны признать существованіе этой силы только по ея фактическому проявленію. Слѣдовательно, постараемся выяснить себъ, какое свойство личнаго характера и какія моральныя побужденія помогли великому музыканту осуществить концентрацію этой силы на одномъ огромномъ дѣйствіи, которое и составляетъ его художественное "дѣло". Какъ мы уже видѣли, надо исключить всякое предположеніе о томъ, что развитіе его художественныхъ побужденій когда-либо направлялось познавательною дъятельностью разума. Поэтому мы будемъ опираться исключительно на мужественную мощь его характера, вліяніе которой на внутренній расцвѣтъ этого генія сразу бросилось намъ въ глаза.

Мы прежде всего невольно сравнили Бетховена съ Гайдномъ и Моцартомъ. Если-же мы взглянемъ на жизнь двухъ послѣднихъ и, въ свою очередь, сопоставимъ ихъ другъ съ другомъ, то въ направленіи внѣшней жизненной участи трехъ музыкантовъ окажется постепенный переходъ отъ Гайдна черезъ Моцарта къ Бетховену. Гайднъ былъ и остался княжескимъ слугой, который былъ обязанъ забавлять своего блесколюбиваго госпо-

дина музыкой; временные перерывы, какъ напримъръ концертныя посъщенія Лондона, мало мъняли характеръегохудожественной дъятельности, потомучто и туда тоже онъ всегда прівзжалъ какъ слугамузыкантъ, рекомендованный знатнымъ господамъ и ими оплачиваемый. Смиренный и преданный. онъ до старости сохранилъ невозмутимый миръ своей ясной, благожелательной души; только глаза, глядящіе на насъ изъ его портрета, подернуты нѣжной меланхоліей. — Напротивъ, жизнь Моцарта была непрерывной борьбой за мирное и упроченное существованіе; но именно его жизнь складывалась такъ своеобразно, что всегда оставалась тяжелой. Обласканный въ дътствъ доброй половиной Европы, онъ юношей на каждомъ шагу встръчаетъ тягостныя, гнетущія затрудненія, когда пытается удовлетворить свои сильно возбужденныя наклонности; а вступивъ въ зрѣлый возрастъ, онъ начинаетъ бъдственно чахнуть, идя навстръчу ранней смерти. Ему сразу стала невыносимой музыкальная служба у одного владътельнаго господина: онъ хочетъ питаться рукоплесканіями болѣе широкой публики, даетъ концерты и "академіи" *).

^{*) &}quot;Академіями" во времена Моцарта и затѣмъ Бетховена назывались обыкновенно тѣ музыкальныя собранія, гдѣ авторъ самъ знакомилъ публику со своими новыми композиціями. Въ Италіи и до сего времени нѣкоторые концерты именуются "академіями".

къ Бетховену слабый доступъ. Его жгучій, почти страшный взоръ не усматривалъ во внѣшнемъ мірѣ ничего, кромѣ докучныхъ помѣхъ для своего внутренняго міра, который и прекратилъ съ первымъ почти единственное еще остававшееся сношеніе. Выраженіемъ Бетховенскаго лица является поэтому судорога: судорога упорства держитъ этотъ носъ, этотъ ротъ въ томъ напряженіи, которое никогда не можетъ разръшиться въ улыбку, а только въ громкій кохотъ. Относительно высокихъ духовныхъ дарованій считалось физіологической аксіомой, что большой мозгъ долженъ быть заключенъ въ тонкомъ, нѣжномъ черепѣ, какъ-бы для того, чтобы облегчить этому мозгу непосредственное познаваніе внѣшнихъ вещей; но вотъ мы видъпи, напротивъ, -- осматривая много лътъ тому назадъ бренные останки Бетховена, -- что въ полномъ соотвътствіи съ исключительной кръпостью всего его скелета находится и черепъ, — совершенно необычайной толщины и твердости. Такъ оберегала природа чрезмѣрную нѣжность этого мозга, чтобъ онъ могъ созерцать только внутренній міръ и чтобы покой великаго сердца при этомъ созерцаніи ничѣмъ не былъ нарушенъ. То, что эта страшно крѣпкая сила обнимала и хранила, было внутреннимъ міромъ столь свѣтлой нѣжности, что если-бъ оставить его беззащитнымъ и

не оградить отъ грубыхъ прикосновеній внѣшняго міра,—онъ мягко растаялъ-бы и испарился, какъ нѣжный Моцартовскій геній свѣта и любви.

Вотъ и представьте себъ, -- какъ могло такое существо глядъть изъ такой тяжеловъсной раковины на міръ!-Конечно, волевые аффекты этого человъка вовсе не опредъляли его внъшняго міропониманія, или опредѣляли весьма туманно; они были слишкомъ сильны и вмъстъ съ тъмъ слишкомъ нѣжны, чтобы сосредоточиться на одномъ изъ внѣшнихъ явленій, по которымъ взоръ генія пробѣгалъ съ пугливой торопливостью, а потомъ и съ недовъріемъ въчной неудовлетворенности. Тутъ ничто не манило его мимолетнымъ соблазномъ, какъ выманивала Моцарта изъ его внутренняго міра страсть къ внішнему наслажденію. Дътская склонность къ развлеченіямъ большого жизнерадостнаго города могла лишь едва замътно коснуться Бетховена, ибо стремленія его воли были слишкомъ сильны, чтобы такое поверхностное, пестрое времяпрепровождение могло хоть сколько-нибудь его насытить. Если именно отсюда развилась его склонность къ одиночеству, то эта склонность, опять-таки, совпала съ его призваніемъ къ независимости. Удивительно върный инстинктъ велъ его прямо къ цѣли и былъ главной пружиной всъхъ проявленій его характера.

Никакая познавательная способность разума не могла-бы наставить его лучше, чъмъ это неуклонное побужденіе инстинкта. Нѣкая сила внушала сознанію Спинозы-кормиться шлифованіемъ стеколъ. Та-же сила наполняла Шопенгауера заботой, опредълившей всю внъшнюю жизнь и даже нѣкоторыя необъяснимыя черты характера нашего философа,—заботой сохранить непреуменьшеннымъ свое маленькое наслъдственное имущество: онъ чувствовалъ, что продуктивности всякаго философскаго изслѣдованія наноситъ серьезный ущербъ зависимость отъ денежнаго заработка на пути научныхъ занятій. И вотъ, та-же самая сила укръпила Бетховена въ его смѣлой независимости отъ міра, въ его тяготъніи къ одиночеству, равно какъ и въ его почти дикихъ склонностяхъ, проявившихся при выборъ имъ образа жизни.

Правда, Бетховенъ тоже долженъ былъ поддерживать свое существованіе доходами со своихъ музыкальныхъ работъ. Но такъ какъ никакія "удовольствія" не прельщали его и онъ отнюдь не стремился обезпечить себѣ "пріятную" жизнь, то ему было весьма мало надобности работать наскоро, поверхностно, —равно какъ и приспособляться къ тому вкусу, который удовлетворяется только пріятно-милымъ. И чѣмъ больше онъ терялъ связь съ внѣшнимъ міромъ, тѣмъ проник-

новеннъе глядълъ въ свой собственный, внутренній міръ. Чъмъ увъренные начиналь онъ здысь распоряжаться своими сокровищами, тъмъ сознательнъе становились его требованія, обращенныя къ внѣшнему міру: въ самомъ дѣлѣ, онъ уже требуетъ отъ своихъ покровителей не вознагражденія за труды, а болье широкой заботы о томъ, чтобы онъ вообще могъ работать для себя, ничъмъ на свътъ не тревожимый. Да, въ музыкальной жизни это былъ первый случай, что нѣсколько благосклонныхъ высокопоставленныхъ лицъ взяли на себя обязательство обезпечить музыканту независимость въ указанномъ смыслъ! Когда Моцартъ достигъ подобнаго-же поворотнаго пункта своей жизни, — онъ погибъ, слишкомъ рано истощенный. Хотя большая матеріальная поддержка, оказанная Бетховену, по временамъ прерывалась и подвергалась сокращеніямъ, тъмъ не менъе она создала своеобразную гармонію въ его жизни, все-же такъ странно сложившейся. Онъ чувствовалъ себя побѣдителемъ, сознавая, что только свободнымъ человъкомъ онъ можетъ служить міру. Послѣдній долженъ былъ покориться и предоставить ему быть тѣмъ, кѣмъ онъ былъ. Своихъ высокородныхъ благодътелей Бетховенъ третировалъ какъ деспотъ, и ничего нельзя было отъ него получить кромѣ того, что онъ самъ расположенъ былъ дать, когда находилъ это нужнымъ.

Но ни къ чему никогда онъ не былъ расположенъ, за исключеніемъ того, что единственно и всегда влекло его: игра съ образами своего внутренняго міра, - вотъ что всецъло поглощало великаго чародъя. Ибо внъшній міръ погасъ для него совершенно; и не слѣпота похитила у музыканта видъ этого міра: нѣтъ, міръ явленій былъ удаленъ отъ его слуха окончательной глухотой. Слухъ оставался единственнымъ органомъ, посредствомъ котораго еще проникалъ въ него этотъ безпокойный міръ, — давно уже умершій для его взора. Что, въ самомъ деле, виделъ этотъ восторженный сновидецъ, блуждая по шумнымъ, пестрымъ улицамъ Вѣны и устремляя открытые глаза въ пространство, одушевленный только жизнью своего внутренняго міра звуковъ? Возникновеніе и прогрессивное ухудшеніе ушного недуга страшно тревожило Бетховена и повергало его въ глубокую меланхолію. Никакихъ, однако, значительныхъ жалобъ не раздается съ его стороны на наступившую полную глухоту, именно на утрату способности слышать исполненіе музыки. Только жизненныя сношенія были ему затруднены; но они сами по себъ не представляли для него ничего привлекательнаго, и онъ теперь все ръшительнъе сталъ уклоняться отъ нихъ.

Лишившійся слуха, глухой музыкантъ! — Можно ли себъ представить ослъпшаго живописца?

Но слъпого ясновидца мы знаемъ. На Тейрезія становится теперь похожъ оглохшій музыкантъ, -- на этого прорицателя, отъ котораго закрылся міръ явленій и который за то внутреннимъ окомъ могъ видъть основу всякаго явленія. Шумъ жизни пересталъ безпокоить Бетховена, и великій артистъ, прислушиваясь только къ гармоніямъ своего духа, только изъ глубинъ этого духа сталъ говорить-тому міру, который самъ ничего уже не могъ сказать ему. Такъ освободился геній отъ всего, что было "извиъ", и остался совершенно "при себъ" и "въ себъ". Какое чудо открылось-бы тому, кто взглянулъ-бы тогда на Бетховена взоромъ Тейрезія: онъ увидѣлъ-бы цѣлый міръ, блуждающій подъ видомъ человѣка, -- принявшую образъ человъка "суть" міра!

И вотъ око музыканта освѣтилось изнутри. Онъ бросилъ взглядъ на представившееся ему видѣніе: освѣщенное его внутреннимъ свѣтомъ, оно дивнымъ рефлексомъ снова сообщилось его духу. Сущность вещей только теперь говоритъ съ нимъ и показываетъ ему свою видимость въ спокойномъ сіяніи красоты. Теперь понимаетъ онъ лѣсъ, ручей, луга, голубой эфиръ, веселую толпу, влюбленную пару, пѣніе птицъ, движеніе тучъ, волненіс

бури, отрадную зыбь блаженнаго покоя. Все его зрѣніе и все его созиданіе проникаются той чудесной, ясной бодростью, которую впервые Бетховень сдѣлалъ достояніемъ музыки. Даже сама жалоба, искони такъ близко свойственная всякому звучанію, успокаивается и обращается въ улыбку: міръ снова пріобрѣтаетъ свою дѣтскую невинность. "Будьте со мною сегодня въ раю!" Кто, внимая "Пасторальной симфоніи", не слышалъ этого призыва, этого искупительнаго слова?

Теперь только выростаетъ могучая сила, созидающая Непостижимое, Невиданное, Неизвъданное, и все это становится, благодаря той-же силъ, чрезвычайно доступнымъ для самаго яснаго, непосредственнаго пониманія. Радость, сопровождающая примъненіе этой силы, обращается въ юморъ: всъ скорби бытія разбиваются о громадное наслажденіе игры съ ними. Брама, созидатель міровъ, смъется надъ самимъ собой, ибо сознаетъ обманъ о самомъ себъ; возрожденная невинность шутливо играетъ съ жаломъ искупленнаго гръха, освобожденная совъсть дразнитъ свою муку, которую она уже претерпъла.

Никогда еще никакое искусство въ мірѣ не создавало чего-нибудь до такой степени свѣтло-радостнаго, какъ симфоніи A-dur и F-dur со всѣми другими, столь родственными имъ композиціями

Бетховена этой божественной эпохи его полной глухоты. На слушателя онъ производять впечатльніе именно очищенія отъ всякаго грѣха, а посльдующимъ рефлективнымъ впечатльніемъ является чувство утраченнаго по легкомыслію рая; съ этимъ чувствомъ мы и возвращаемся обратно въ міръ явленій. Такимъ образомъ эти дивныя творенія проповъдуютъ раскаяніе и покаяніе, въ глубочайшемъ смысль божественнаго откровенія.

Здѣсь примѣнимо только эстетическое понятіе возвышеннаго, — потому именно, что здѣсь вліяніе свѣтло-радостнаго тотчасъ-же уноситъ насъ далеко за предѣлы удовлетворенія красивымъ. Вся самоувъренность гордаго своей познавательной способностью разума тотчасъ-же разбивается о волшебство, охватывающее всю нашу природу; познавательная сила бъжитъ прочь, сознавъ свое заблужденіе. И мы испытываемъ огромную радость отъ такого сознанія и начинаемъ ликовать отъ самой глубины души, -- хотя застывшія въ очаророваніи лица слушателей и обнаруживаютъ ихъ серьезнъйшее изумление передъ полной безпомощностью нашего зрѣнія и нашего разсудка, поставленныхъ лицомъ къ лицу съ этимъ наидъйствительнъйшимъ изъ міровъ.

Что-же еще оставалось въ человъческой природъ генія, оторвавшагося отъ міра, —поддающееся наблюденію этого міра? Что могъ тутъ усмотрѣть взоръ встрѣчнаго свѣтскаго человѣка? Разумѣется, такія встрѣчи могли породить только недоразумѣніе, - какъ обратились въ сплошное недоразумѣніе и всѣ вообще сношенія Бетховена съ внѣшнимъ міромъ; относительно послѣдняго онъ, по своему наивному великодушію, всегда былъ въ противорѣчіи съ самимъ собою, и это противорѣчіе гармонично изглаживалось, опять-таки,---только на возвышенной почвъ искусства. Если онъ иногда и пытался разрѣшать разумомъ тѣ или иные вопросы окружающей жизни, то прежде всего находилъ душевное успокоеніе въ своихъ оптимистическихъ воззрѣніяхъ: онъ примыкалъ къ тому оптимизму, который былъ привитъ всему вообще религіозно-бюргерскому міру мечтательными гуманитарными тенденціями прошлаго стольтія. Открытыми ссылками на основныя религіозныя максимы преодолъвалъ Бетховенъ всякое простодушное сомнъние въ правильности этого ученія, когда жизненный опытъ наталкивалъ его на такое сомнъніе. Сердце говорило ему: любовь есть Богъ, --- и онъ рѣшалъ: Богъ есть любовь. У нашихъ поэтовъ искренно нравились ему только тъ вещи, гдъ въ повышенномъ тонъ трактованы эти догмы; и если "Фаустъ" всегда

такъ властно чаровалъ его, то все-же Клопштокъ и какой-нибудь плоскій пъвецъ гуманизма казались ему въ особенности почтенными. Его мораль отличалась строжайшей бюргерской исключительностью: фривольный духъ выводилъ его изъ себя. Такимъ образомъ онъ самъ, конечно, не обнаруживалъ даже весьма внимательному собесъднику ни одной черты своей геніальности; и въроятно Гете, — несмотря на пламенныя фантазіи Беттины о Бетховенъ, -- во время своихъ разговоровъ съ последнимъ испытывалъ некоторую тягость на сердцъ. Но въ томъ обстоятельствъ, что Бетховенъ. совершенно не нуждавшійся въ роскоши, заботливо экономилъ свои доходы и часто бывалъ даже до скупости бережливъ, --- въ этой оригинальной чертъ его характера, равно какъ и въ его строго-религіозной нравственности, давалъ себя знать върнъйшій инстинктъ, силою котораго онъ оберегалъ свое благороднъйшее достояніе, - свободу своего генія, — отъ властнаго вторженія окружающаго міра.

Онъ жилъ въ Вѣнѣ и зналъ только Вѣну: это объясняетъ многое.

Всякій австріецъ, воспитанный въ школѣ романскихъ іезуитовъ, окончательно искоренившихъ изъ нея нѣмецкій протестантизмъ,—самъ потерялъ правильный акцентъ своего языка: какъ классическія имена античнаго міра,—свой языкъ онъ слы-

шалъ теперь только въ произношеніи на романскій ладъ, несвойственный германскому духу. Этотъ германскій духъ, германскіе нравы и обычаи австріецъ сталъ изучать по учебникамъ испанскаго и итальянскаго происхожденія. На почвѣ поддѣльной исторіи, поддѣльной науки и поддѣльной религіи былъ привитъ населенію, отъ природы веселому и жизнерадостному,—тотъ скептицизмъ, который неизбѣжно проявился въ видѣ дѣйствительно фривольныхъ нравовъ, такъ какъ прежде всего были подорваны всѣ основы правды, истины и свободы.

Вотъ этотъ-то фривольный духъ наложилъ свою печать и на развитіе музыки, -- единственнаго искусства, культивировавшагося въ Австріи,и сообщилъ этому искусству поистинъ унизительную тенденцію, о которой мы уже высказали выше свой приговоръ. Мы видъли, какъ уберегся Бетховенъ отъ этой тенденціи благодаря могучему свойству своей природы, --- и видимъ теперь, что та-же самая сила мощно служитъ ему и для твердой самообороны отъ фривольной тенденціи въ жизни тъла и духа вообще. Онъ былъ крещенъ по католическому обряду и получилъ католическое воспитаніе; тъмъ не менье, вслъдствіе отмъченныхъ нами природныхъ наклонностей Бетховена. въ немъ жилъ весь духъ германскаго протестантизма. И этотъ духъ направлялъ его, какъ художника, по тому пути, гдѣ онъ долженъ былъ встрѣтить единственнаго настоящаго товарища въ своемъ искусствѣ, —товарища, предъ которымъ онъ могъ благоговѣйно склониться, котораго онъ могъ воспринять какъ откровеніе глубочайшей тайны, скрывавшейся въ его собственной природѣ. Если Гайднъ считался учителемъ Бетховена-юноши, то великій Себастіанъ Бахъ былъ руководителемъ Бетховена-мужа въ его мощно развернувшейся художественной жизни.

Чудесныя творенія Баха служили ему библіей въры: читая ее, онъ забывалъ міръ звуковъ, которыхъ уже не могъ слышать. Тамъ, въ этой библіи. стояло оно, -- это таинственное слово его глубокосокровеннаго сна, нѣкогда написанное бѣднымъ лейпцигскимъ канторомъ и ставшее въчнымъ символомъ новаго, иного міра. Это были тѣ самыя загадочно переплетающіяся линіи, странные завитки и причудливые знаки, въ которыхъ великому Альбрехту Дюреру раскрылась тайна озареннаго свътомъ міра съ его образами: волшебная книга некроманта, заставляющаго макрокосмъ источать лучи свъта надъ микрокосмомъ. Все, что могло увидъть только око германскаго генія, что могло услышать только его ухо, что побуждало его, глубоко созерцающаго, къ неодолимому протесту противъ всего возложеннаго на него внъшняго

естества,—все это прочелъ теперь Бетховенъ, какъ нѣчто вполнѣ ясное и понятное, въ своей наисвятьйшей книгѣ. — и самъ сталъ святымъ.

Но какъ-же этотъ святой, живя среди людей, относился къ своей собственной святости, разъ ему дано было "изрекать величайшую мудрость на языкъ, недоступномъ его разуму ? Не должно-ли было его общеніе съ міромъ казаться состояніемъ человъка, пробудившагося отъ глубочайшаго сна и мучительно старающагося вспомнить блаженное сновидѣніе своего духа? Можно предположить, что въ подобномъ состояніи бываетъ религіозный святой, когда онъ, побуждаемый необходимъйшими житейскими потребностями, снова вступаетъ въ какое-либо соприкосновеніе съ функціями общей жизни. Но разница въ томъ, что такой святой въ мірскомъ бѣдствіи видитъ очистительную кару за гръшное существование и терпъливое перенесение этого бъдствія вдохновенно принимаетъ какъ средство искупленія; между тѣмъ для нашего святого ясновидца "очистительная кара" была просто мученіемъ, и свой "грѣхъ существованія" онъ несъ только какъ страдалецъ. Заблужденіе оптимиста стало мстить за себя усиленіемъ этихъ страданій и повысило чувствительность субъекта къ нимъ. Всякое безсердечіе, всякое проявленіе эгоизма или жестокости, --- всюду и всегда имъ ощущаемое, гдъбы оно ему ни встрѣтилось, — возмущало его какъ непостижимая гибель изначальной доброты человѣка, — той доброты, которая продолжала твердо держаться въ презумпціяхъ его религіозной вѣры. Такимъ образомъ онъ постоянно падалъ изъ рая своей духовной гармоніи въ ужасный адъ дисгармоническаго бытія; и только, опять-таки, путемъ художественнаго творчества онъ умѣлъ обращать эту дисгармонію — въ конечную гармонію.

Если мы захотимъ взглянуть на картину жизни нашего святого, представить себъ одинъ дъйствительный день этой жизни, -- то лучшее отражение желаемой картины мы получимъ въ любой изъ чудесныхъ композицій самого маэстро; при этомъ мы должны только, чтобы не обмануть самихъ себя, всегда имъть въ виду ту аналогію, которую мы проводили между феноменомъ сна и происхожденіемъ музыки какъ искусства, -- не отожествляя, однако, этихъ двухъ феноменовъ. Намъ ясно представится одинъ изъ такихъ дней жизни подлиннаго Бетховена въ связи съ его глубочайшими внутренними переживаніями, если я для примъра выберу большой квартетъ cis-moll. Мы врядъли смогли-бы получить указанное представленіе при дъйствительномъ слушаніи этой музыки, потому что почувствовали-бы тогда, что вынуждены бросить всякое опредъленное сравнение и всецъло

отдаться откровенію, звучащему изъ иного міра; но мы хотя-бы до извѣстной степени достигнемъ желаемаго, если названный квартетъ прозвучитъ только въ нашемъ воспоминаніи. Впрочемъ, даже и тутъ я по необходимости предоставляю фантазіи самого читателя—оживить картину въ ея ближайшихъ, характерныхъ чертахъ и отдѣльныхъ деталяхъ,—а самъ являюсь на помощь только съ общей схемой произведенія.

Довольно длинное вступительное adagio, самое скорбное изъ всего, что когда-либо было выражено въ звукахъ, -- я-бы назвалъ пробужденіемъ на разсвѣтѣ того дня, который "на всемъ своемъ уныломъ протяженьи ни одному желанію исполниться не дастъ, ни одному"! Но въ то-же время это есть покаянная молитва, — совъщание съ Богомъ, преисполненное въры въ въчное добро.-Взоръ, обращенный внутрь, видитъ утъшительное явленіе, понятное только ему (allegro $^6/8$),—и желаніе обращается въ дивно-грустную игру съ самимъ собой: глубочайшее сновидъніе пробуждается въ отраднъйшемъ воспоминаніи. И вотъ художникъ, въ сознаніи своего искусства, словно приготовляется (короткое переходное allegro moderato) къ волшебной работъ; вновь оживившуюся силу присущаго ему чародъйства онъ заставляетъ дъйствовать (and ante $^{2}/_{4}$) съ цълью приворожить

появившійся прелестный образъ, и затъмъ безъ устали восхищается этимъ блаженнымъ показателемъ полной душевной невинности, направляя на него преломленные лучи въчнаго свъта и тъмъ придавая своему видънію все новыя и новыя, неслыханныя формы. -- И мы какъ-будто уже видимъ. что художникъ, нашедшій въ самомъ себѣ глубокое счастье, устремляетъ теперь свой взоръ. несказанно прояснившійся, на внѣшній міръ (presto $^{2}/_{2}$): этотъ міръ снова предъ его глазами, какъ въ пасторальной симфоніи. Все освъщено внутреннимъ счастьемъ художника. Онъ словно самъ прислушивается къ звукамъ тѣхъ явленій, что воздушно и вмъстъ грубовато движутся предъ нимъ въ ритмическомъ танцѣ. Онъ глядитъ на жизнь и повидимому обдумываетъ (небольшое ada $gio ^{3}/4$), какъ-бы ему самому сыграть танецъ для этой жизни: короткое, но сумрачное размышленіе,--словно онъ погрузился въ глубокій сонъ своей души. Одинъ взглядъ, - и артистъ снова увидълъ суть міра: онъ пробуждается, проводитъ рукой по струнамъ и начинаетъ играть такой танецъ, какого міръ никогда еще не слыхивалъ (allegro finale). Это-танецъ самого міра: дикое веселіе, мучительная жалоба, любовный восторгъ, высшее блаженство, печаль, ярость, сладострастіе и горе; сверкаютъ молніи, грохочетъ громъ. И надъ всьмъ этимъ—чудовищный музыкантъ, который все и вся покоряетъ и связуетъ, — все и вся гордо и увъренно въ вихръ и водоворотъ направляетъ въ бездонную пучину: онъ усмъхается на самого себя, — въдь для него это колдовство было только игрой! — Ночь подаетъ ему знакъ: его день свершонъ.

Невозможно съ какой-бы то ни было точки зрѣнія вспоминать Бетховена-человѣка, безъ того чтобы тотчасъ-же, для его толкованія, не привлечь удивительнаго Бетховена-музыканта.

Мы видъли, какъ его инстинктивная тенденція жизни совпала съ тенденціей эмансипаціи музыки. Какъ онъ самъ не могъ быть слугою роскоши, точно также и его искусство должно было быть освобождено отъ всякихъ признаковъ подчиненія фривольному вкусу. И въ дальнъйшемъ его религіозно-оптимистическая въра шла рука объ руку съ инстинктивной тенденціей расширенія музыкальной сферы; объ этомъ свидътельствуетъ намъ памятникъ, преисполненный самой возвышенной наивности,—его девятая симфонія съ хорами, генезисъ которой мы должны разсмотръть подробнъе, чтобы намъ стала вполнъ ясной чудесная связь между указанными основными тенденціями природы нашего святого.

Инстинктивное стремленіе, побудившее познавательный разумъ Бетховена составить сабъ пред-

ставленіе о добромъ человъкъ, привело его и къ созданію мелодіи этого добраго человъка. Онъ захотълъ вернуть мелодіи ея чистъйшую невинность, которую она утратила въ рукахъ музыкантовъ-искусственниковъ. Въдь стоитъ только припомнить итальянскую оперную мелодію прошлаго столътія, чтобы признать, какимъ до странности ничтожнымъ звуковымъ призракомъ было это существо, служившее исключительно модъ и ея цълямъ. Именно этой прикладной мелодіей музыка была унижена такъ глубоко, что похотливый вкусъ сталъ требовать отъ этого искусства всегда чего-нибудь "новенькаго", потому что вчерашнюю мелодію -- сегодня было уже противно слушать. Между тъмъ этою мелодіей жила и наша инструментальная музыка, примънявшаяся для надобностей отнюдь не благородной общественной жизни, о чемъ мы выше уже говорили.

Но вотъ явился Гайднъ и немедленно взялся за народные плясовые мотивы, простецкіе и добродушные; онъ ихъ заимствовалъ, какъ это во многихъ случаяхъ легко замѣтить, изъ близкой ему музыки венгерскихъ крестьянскихъ танцевъ; съ этими мотивами онъ остался въ невысокой сферѣ, носившей весьма опредѣленный, узко-мѣстный характеръ. Однако изъ какой-же сферы можно было-бы позаимствовать такую природную

мелодію, чтобы она носила болѣе благородный, въчный характеръ? Въдь и этотъ Гайдновскій мотивъ мужицкаго танца плѣнялъ, скорѣе всего, какъ пикантная странность, но никоимъ образомъ не какъ чисто-человъческій типъ искусства, пригодный для всъхъ временъ. Между тъмъ никакія заимствованія въ болье высокихъ сферахъ нашего общества были невозможны, потому что именно тамъ царствовала изнъженная, вычурная, всъми гръхами обремененная мелодія опернаго пъвца и балетнаго танцора. Бетховенъ тоже пошелъ путемъ Гайдна; но онъ сталъ пользоваться народной плясовой пъсней уже не для увеселенія князей за ихъ объденнымъ столомъ: онъ заигралъ ее въ идеальномъ смыслѣ самому народу. Это былъ то шотландскій, то русскій, то старо-французскій народный напъвъ; здъсь Бетховену открывалась его мечта, благородный идеалъ невинности, къ ногамъ которой онъ върнопреданно слагалъ все свое искусство. Но одинъ венгерскій крестьянскій танецъ (въ заключительной части своей симфоніи A-dur) онъ сыгралъ всей природъ: тотъ, кто увидалъ-бы ее танцующей подъ эту музыку, навърное подумалъ-бы, что предъ его глазами въ ужасающемъ круговоротъ возникаетъ новая планета.

Но надо было найти прототипъ невинности, идеальнаго "добраго человѣка", въ котораго онъ върилъ, - чтобы сочетать его съ презумпціей "Богъ есть любовь". Казалось, Бетховенъ пошелъ-было по этому пути уже въ своей "Sinfonia eroica": необыкновенно простая тема финала, которую онъ потомъ разрабатывалъ и въ другихъ мѣстахъ, должна была, повидимому, служить фундаментомъ задуманной постройки. Однако воздвигнутый тутъ восхитительный мелосъ слишкомъ еще примыкаетъ къ Моцартовскому сентиментальному cantabile, чтобы считаться пріобрътеніемъ въ указанномъ смыслъ, -хотя это cantabile и было, вообще говоря, развито и расширено Бетховеномъ весьма своеобразно.-Яснъе замътны искомые слъды въ ликующемъ финалѣ симфоніи с-moll: маршеобразный мотивъ, такъ просто шествующій почти только на тоникъ и доминанть, въ натуральной гаммъ валторнъ и трубъ, - тъмъ болъе чаруетъ насъ своею великой наивностью, что вся предшествующая ему симфонія начинаетъ теперь казаться только напряженнымъ подготовленіемъ къ этому ликованію. Такъ сгущаются тучи, то гонимыя бурей, то движимыя нъжнымъ дуновеніемъ вътра, — пока, наконецъ, сквозь нихъ не прорвутся могучіе лучи солнца.

Въ то-же время *) эта симфонія c-moll плѣняєть насъ и какъ одна изъ тѣхъ, наиболѣе рѣд-

^{*)} Мы включаемъ сюда это кажущееся отступленіе, такъ какъ оно имъетъ важное отношеніе къ предмету нашего изслъдованія.

кихъ концепцій Бетховена, гдъ первоначальный, основной тонъ -- горестно возбужденная страстность-поднимается по ступенямъ утѣхи и возвышающей надежды, чтобы въ сознаніи побъды взлетъть, наконецъ, на вершину радости. Лирическій павосъ почти уже вступаетъ здѣсь на почву идеальнаго драматизма (въ извъстномъ смыслъ). Правда, этотъ путь можетъ показаться сомнительнымъ и возбудить опасенія, --- не утратитъ-ли музыкальная концепція своей чистоты, прибъгая къ представленіямъ, которыя сами по себѣ кажутся совершенно чуждыми духу музыки. Съ другой стороны, однако, нельзя не признать, что Бетховенъ руководился въ этомъ направленіи отнюдь не ложнымъ эстетическимъ разсчетомъ, а исключительно идеальнымъ инстинктомъ, выросшимъ въ чистомузыкальной области. Этотъ инстинктъ, -- какъ мы указали въ исходномъ пунктъ нашего послъдняго изысканія, -- совпалъ со стремленіемъ спасти въру въ изначальную доброту человъческой природы, даже, быть можетъ, вновь завоевать сознанію эту въру, ниспровергнувъ всъ протесты жизненнаго опыта, опирающіеся на одну только видимую внъшность. Выше мы замѣтили, что тъ концепціи Бетховена, которыя почти сплошь порождены возвышеннымъ духомъ яснаго веселія, относятся преимущественно къ періоду его духовнаго уединенія:

онъ возникли тогда, когда наступившая полная глухота, казалось, совершенно оторвала его отъ міра страданій. Можетъ быть, намъ нізтъ надобности строить предположеній объ упадкѣ этого душевнаго равновъсія на основаніи вновь появляюшихся скорбныхъ настроеній въ нѣкоторыхъ важнъйшихъ концепціяхъ Бетховена: въдь вообще всякій художникъ можетъ творить только въ состояніи глубокой ясности духа, и мы безъ всякаго сомнънія очень ошибемся, если предположимъ обратное. Поэтому настроеніе, выраженное въ той или иной концепціи, должно принадлежать міровой идеѣ, которую художникъ схватываетъ и выявляетъ въ произведеніи искусства. А такъ какъ мы съ увъренностью предположили, что въ музыкъ открывается идея самого міра, то отсюда явствуетъ, что творящій музыкантъ, прежде всего, самъ входитъ составной частью въ эту идею, и все то, что онъ высказываетъ, не есть его личный взглядъ на міръ: это-самъ міръ, гдъ горе и радость, счастье и муки смѣняютъ другъ-друга. Извѣстное душевное сомнъніе человъка-Бетховена тоже заключалось въ этомъ мірѣ; и великій музыкантъ говоритъ намъ непосредственно, - а ни въ какомъ случав не какъ объектъ собственной рефлексіи, --- когда находитъ міру такое выраженіе, какое мы слышимъ въ девятой симфоніи: первая часть ея дъйствительно показываетъ намъ идею міра въ самомъ ужасномъ ея освѣщеніи. Но съ другой стороны неоспоримо, что именно этимъ произведеніемъ властно управляетъ обдуманная, регулирующая воля его творца; мы непосредственно, лицомъ къ лицу сталкиваемся съ ея проявленіемъ, когда она словно испуганнымъ крикомъ человѣка, пробудившагося отъ страшнаго сна, взываетъ къ бѣшеному урагану отчаянія, вновь и вновь бушующему послѣ каждаго момента успокоенія,—и произноситъ дѣйствительно сказанное слово, идеальный смыслъ котораго есть не что иное, какъ: "человѣкъ все-таки добръ!".

Это не только критикѣ, но и безпристрастному чувству всегда давало поводъ считать, что маэстро здѣсь внезапно какъ-бы выпалъ изъ музыки, какъ-бы вышелъ изъ имъ самимъ описаннаго волшебнаго круга, чтобы апеллировать къ изобразительному средству совсѣмъ иного рода. Да, этотъ неслыханный художественный фактъ дѣйствительно похожъ на внезапное пробужденіе отъ сна; но вмѣстѣ съ тѣмъ мы ощущаемъ благотворное дѣйствіе этого событія на того, кто до крайности былъ испуганъ сномъ, потому-что никогда еще ни одинъ музыкантъ не заставлялъ насъ до такой степени переживать безконечный ужасъ міровой муки. Божественно-наивный художникъ, весь исполненный

только своего волшебства, въ самомъ дѣлѣ сдѣлалъ прыжокъ отчаянія и вступилъ въ новый міръ свѣта, откуда несся ему навстрѣчу дивно-сладкій, невинно-чистый ароматъ человѣческой мелодіи.

А вмъстъ съ тъмъ мы видимъ, что упомянутая регулирующая воля художника, приведшая его къ этой мелодіи, неуклонно дъйствовала въ самой музыкъ, какъ идеъ міра; потому что въ данномъ случать не смыслъ раздавшагося слова плъняетъ насъ при вступленіи человѣческаго голоса, а самый характеръ этого человъческаго голоса. Точно также и въ дальнъйшемъ насъ интересуютъ не детали мыслей, высказанныхъ въ стихотвореніи Шиллера, а сердечные звуки хорового пънія. И мы сами чувствуемъ потребность присоединить свои голоса къ этому пънію: какъ оно въ дъйствительности случалось во время исполненія "Страстной музыки" С. Баха при вступленіи хорала, — мы хотимъ сами, подобно прихожанамъ, принять участіе въ этомъ идеальномъ богослуженіи. Совершенно очевидно. что именно на главную мелодію слова Шиллера положены довольно даже неискусно, кое-какъ; и въдь уже раньше эта мелодія, воспроизведенная только инструментами оркестра, сама по себъ развернулась предъ нами во всю свою ширь и въстью о добытомъ рав наполнила насъ безконечно радостнымъ умиленіемъ.

Никогда еще самое высокое искусство не создавало ничего болье безыскусственнаго, чымь этотъ напѣвъ! Когда онъ впервые появляется въ унисонѣ, когда мы впервые слышимъ его въ однороднъйшемъ шопотѣ басовыхъ инструментовъ струннаго оркестра, -- словно священный трепетъ навъваетъ на насъ его дътская невинность. Тема эта обращается въ cantus firmus, становится хораломъ новой общины, вокругъ котораго, какъ вокругъ Баховскаго церковнаго хорала, контрапунктически группируются вступающіе гармоническіе голоса: съ какой сердечной, ни съ чъмъ не сравнимой искренностью всякій вновь вступающій голосъ одушевляетъ этотъ изначальный напъвъ чистъйшей безгрѣшности! И вотъ каждое украшеніе, каждый великолъпный штрихъ повышеннаго чувства входятъ въ основную мелодію и сливаются съ нею,-какъ сливается міръ дыханій съ наконецъ-то объявленной догмой чиствишей любви.

Если мы окинемъ взглядомъ исторически-прогрессивную эпоху, сдъланную музыкой въ лицъ Бетховена, то върно и точно опредълимъ этотъ прогрессъ, назвавъ его пріобрътеніемъ новой способности, которой до того времени за музыкой не признавали. Благодаря этому новому пріобрѣтенію, музыка высоко поднялась надъ областью эстетически красиваго и вступила въ сферу безконечно возвышеннаго: здѣсь тональное искусство освободилось отъ всякихъ ограниченій, налагаемыхъ традиціонными или условными формами, потому что эти формы всецъло охватилъ и оживилъ истинный духъ музыки. И это пріобрѣтеніе тотчасъ-же даетъ себя знать всякому человъческому сердцу въ томъ характеръ, который дарованъ Бетховеномъ главнъйшему элементу всякой музыки, — мелодіи: здісь теперь вновь добыта величайшая естественная простота, здѣсь открылся родникъ, во всякое время и при всякой потребности обновляющій мелодію, — получившую возможность развиваться до величайшей, богатъйшей разносторонности. И все это мы можемъ выразить одной общепонятной формулой: Бетховенъ эмансипировалъ мелодію отъ вліянія моды и перемѣнчиваго вкуса, и мелодія возвысилась до вѣчно цѣннаго, чисто человъческаго типа. Музыка Бетховена останется понятной на всѣ времена, тогда какъ музыку его предшественниковъ, въ большинствъ случаевъ, мы будемъ понимать только при помощи рефлексіи, — съ точки зрѣнія исторіи искусства.

Но на томъ пути, гдъ Бетховенъ достигъ исключительно важной цѣли, облагородивъ мелодію, —виденъ еще и другой прогрессъ нашего искусства,--именно новое значеніе, которое получаетъ теперь вокальная музыка въ ея отношеніи къ музыкъ инструментальной.

Это значеніе было до сихъ поръ чуждо той смѣшанной вокально - инструментальной музыкѣ, которую мы имъли преимущественно въ церковныхъ композиціяхъ. Безъ сомнѣнія, надо разсматривать подобныя композиціи только какъ испорченную вокальную музыку, - въ томъ смыслъ, что оркестръ здѣсь примѣненъ единственно для усиленія вокальныхъ партій, или просто для ихъ сопровожденія. Только музыка хоровъ дѣлаетъ понятными церковныя композиціи великаго С. Баха; но здѣсь уже сами хоры трактованы со свободой и подвижностью инструментальнаго оркестра, а потому послѣдній вполнѣ естественно былъ привлеченъ для усиленія и поддержанія вокальныхъ массъ. Затъмъ, при все возраставшемъ упадкъ духа церковной музыки, мы рядомъ съ указанной "смѣсью" наталкиваемся на "примъсь" итальянскаго опернаго пѣнія съ сопровожденіемъ оркестра, по излюбленнымъ въ различныя времена модамъ. Изъ такихъ составовъ образовался извъстный комплексъ искусства, и генію Бетховена было предоставлено разработать этотъ комплексъ въ чисто оркестровомъ смыслъ, причемъ оркестръ получилъ повышенную способность. Въ большой Missa solemnis Бетховена мы имъемъ предъ собой чисто симфоническое произведеніе, преисполненное самаго подлиннаго Бетховенскаго духа. Вокальныя силы

трактованы здѣсь совершенно какъ инструменты,—въ томъ именно смыслѣ, который Шопенгауеру вообще казался единственно правильнымъ. Текстъ вокальныхъ партій въ этихъ большихъ церковныхъ композиціяхъ не воспринимается нами соотвѣтственно значенію вложенныхъ въ него опредѣленныхъ мыслей и понятій; какъ элементъ музыкальнаго произведенія искусства, онъ служитъ исключительно матеріаломъ для пѣнія и лишь потому не мѣшаетъ нашему музыкально настроенному чувству, что отнюдь не вызываетъ представленій нашего разума, а прикасается къ намъ только общимъ впечатлѣніемъ весьма извѣстныхъ символическихъ формулъ вѣры,—что обусловливается и церковнымъ характеромъ такого текста.

Съ другой стороны, — опытъ показываетъ, что музыка ничуть не теряетъ своего характера, когда ее поютъ даже на самые разнородные тексты; отсюда явствуетъ, что связь музыки со стихотворнымъ искусствомъ весьма иллюзорна. Ибо при пѣніи какой-нибудь музыки, какъ это подтверждается практикой, слушатель воспринимаетъ не поэтическую мысль, — которую въ хоровомъ пѣніи даже трудно бываетъ разобрать, — а въ лучшемъ случаѣ только ту музыку, которую эта поэтическая мысль музыкально затронула въ душѣ музыканта. Поэтому "ссединеніе" музыки съ

поэзіей должно всегда вести къ столь значительному ограниченію послѣдней, что становится прямо удивительнымъ,—какъ могли наши великіе нѣмецкіе поэты постоянно возвращаться къ проблемѣ соединенія обоихъ искусствъ, пытаясь даже разрѣшить ее практически *). Они, очевидно, руководи-

Прим. переводчика.

r

лись дъйствіемъ музыки въ оперъ; и въ самомъ дълъ было ясно, что тутъ именно и только тутъ (т. е. въ театрѣ) лежала область, гдѣ можно было придти къ разрѣшенію проблемы. Но все равно, опирались-ли ожиданія нашихъ поэтовъ больше на формальную опредъленность просодической структуры, или-же больше на специфическое дъйствіе музыки, глубоко возбудающей чувство, -- все равно всегда было видно, что имъ приходила въ голову только мысль воспользоваться имъющимся на лицо, какъ имъ казалось, весьма могучимъ вспомогательнымъ средствомъ-единственно для того, чтобы дать поэтическому замыслу болъе точное и въ то-же время глубже захватывающее выраженіе. Поэты могли предполагать, что музыка охотно окажетъ имъ эту услугу, если они вмѣсто тривіальныхъ оперныхъ сюжетовъ и оперныхъ текстовъ принесутъ ей серьезно задуманную поэтическую концепцію *). И если что постоянно удерживало ихъ отъ серьезныхъ практическихъ попытокъ, такъ это было, въроятно, лишь смутное, но върно направленное сомнъніе, — будетъ-ли еще поэзія, какъ таковая, вообще играть какую-нибудь существенную роль при такомъ своемъ совмѣстномъ дѣйствіи съ музыкой. Когда поэты ближе присмотрълись къ

Прим. переводчика.

^{*)} Если читатель мало знакомъ съ другими теоретическими сочиненіями Вагнера и, главное, мало вникалъ мыслью и чувствомъ въ его художественныя творенія, то ему, читателю, весь этотъ абзацъ можетъ показаться страннымъ-именно въ устахъ того, кто всю свою жизнь писаль музыку только въ соединении съ поэзіей. Между темъвысказанныя здъсь мысли, -- хотя и формулированы подъ явнымъ вліяніемъ Шопенгауера, къ тому-же слишкомъ сжато и съ сознательной парадоксальной ръзкостью, — по существу своему находятся въ полной гармоніи съ коренными художественными взглядами и върованіями великаго поэта-музыканта. Разумъется, музыка самого Вагнера, взятая въ цъломъ, только потому такъ глубоко захватываетъ и такъ безконечно волнуетъ насъ, что этотъ всеобъемлющій художникъ, этотъ уникъ въ исторіи искусства прежде всего несказанно чаруетъ насъ какъ поэтъ-въ самомъ широкомъ и возвышенномъ смыслъ слова; только чрезъ волшебно-прекрасныя, щемящія сердце сновидвнія Вагнера, чрезъ его образы и картины мы воспринимаемъ въ истинномъ освъщении его музыку. Надо лишь помнить, что онъ всегда (и въ данномъ случаъ тоже, какъ читатель увидитъ ниже) имъетъ въ виду высшую форму единаго совершеннаго искусства-музыкальную драму, гдѣ поэзія и музыка действуютъ сообща и параллельно для достиженія одной общей цъли, взаимно дополняя другъ друга, и гдъ объ одновременно выявляются въ пластикъ сценическаго дъйствія. Въ музыкальной драмъ поэзія и музыка "сливаются", но только въ томъ смыслъ, что здъсь оба искусства вступаютъ въ союзъ для совмъстнаго созданія драмы: поэзія (мысль, способная рефлективно затронуть чувство) оплодотворяетъ музыку (эмоцію), и затъмъ какъ-бы ведетъ ее все время за руку, причемъ оба искусства твсно и неразрывно соприкасаются другъ съ другомъ. Графически можно представить себъ поэзію и музыку въ музыкальной драм'в, какъ дв'в смежныя площади въ одной вертикальной плоскости, гдъ общей ихъ границей является кривая или поманная линія мелодін, служащая основаніемъ-для поэзін и вершиной-для музыки.

^{*)} Такихъ-же взглядовъ держался и Глукъ.

вопросу, отъ нихъ не могло ускользнуть то обстоятельство, что въ оперѣ, кромѣ музыки, претендуетъ на вниманіе къ себъ только сценическое представленіе, а вовсе не поэтическая мысль, объясняющая его, — и что опера старается заинтересовать то слухъ, то зрѣніе, въ буквальномъ смыслѣ поперемѣнно. Но ни та, ни другая воспринимательная способность не получаютъ здъсь совершеннаго эстетическаго удовлетворенія; это ясно объясняется тѣмъ, что оперная музыка, какъ я выше уже замътилъ, отнюдь не вызываетъ того благоговѣнія, единственно отвѣчающаго музыкѣ, при которомъ зрительное чувство какъ-бы ослабляется и глаза уже не воспринимаютъ объектовъ съ обычной интенсивностью. Напротивъ того мы находимъ, что музыка въ оперѣ затрогиваетъ насъ только поверхностно: мы здѣсь больше возбуждены звуками, чъмъ исполнены ихъ, а потому намъ надо здъсь что-нибудь еще и видъть, — однако ни въ какомъ случав не размышлять. Ибо способность мыслить совершенно отнята у насъ въ оперѣ именно этой двойственной жаждой развлеченія, и наше разсѣянное вниманіе борется здѣсь, въ сущности, только со скукой.

Въ нашемъ изслѣдованіи мы достаточно уже освоились съ особенностью природы Бетховена и безъ труда поймемъ теперь его отношеніе къ оперѣ.

Конечно, онъ самымъ рѣшительнымъ образомъ отказывался когда-либо имъть дъло съ фривольнымъ опернымъ текстомъ. Сочинять музыку, сопровождающую балетъ, шествія, фейерверкъ, сладострастныя любовныя интриги и т. д., — нѣтъ, эту мысль онъ съ ужасомъ разъ навсегда отбросилъ. Въдь его музыка могла-бы цѣликомъ охватить пьесу, но конечно только пьесу, полную самой великодушной страстности. Кто-же изъ поэтовъ былъ-бы въ состояніи подать ему руку? Одинъ единственный разъ онъ сдълалъ опытъ и соприкоснулся съ драматической ситуаціей, которая не заключала въ себъ, по крайней мъръ, никакихъ признаковъ ненавистной фривольности и, кромѣ того, прославленіемъ женской върности хорошо отвъчала руководящему гуманистическому догмату Бетховена. И все-таки въ этотъ оперный сюжетъ входило такъ много чуждаго музыкъ, неспособнаго ассимилироваться съ нею, что въ результатъ, собственно говоря, только большая увертюра къ "Леоноръ" ясно показываетъ намъ, какъ хотълъ Бетховенъ понимать данную драму. Кто могъ-бы, прослушавъ эту увлекательную музыкальную пьесу, не проникнуться убъжденіемъ, что музыка заключаетъ въ себъ совершеннъйшую драму? Что такое представляетъ драматическое дъйствіе, которое мы видимъ въ текстъ оперы "Леонора", какъ не слабое, почти превратное изложеніе драмы, бьющей жизнью въ увертюръ, — нъчто подобное скучному пояснительному комментарію Гервинуса къ какой-нибудь сценъ Шекспира?

Сказанное понятно само собою для всякаго непосредственнаго чувства, но и разумъ нашъ совершенно ясно это постигнетъ, если мы возвратимся къ философскому объясненію самой музыки.

Музыка, какъ мы знаемъ, не изображаетъ намъ идей, содержащихся въ явленіяхъ міра, а напротивъ, сама является идеей міра, притомъ идеей многообъемлющей; она совершенно самостоятельно заключаетъ въ себъ драму, ибо сама драма, опятьтаки, выражаетъ единственную адэкватную музыкъ идею міра. Область драмы превосходитъ предѣлы стихотворнаго искусства, совершенно такъ-же, какъ область музыки идетъ дальше границъ всякаго другого искусства, т. е. именно образнаго, — потому что музыка дъйствуетъ исключительно въ области возвышеннаго. Подобно тому какъ драма не описываетъ человъческихъ характеровъ, а предоставляетъ имъ самимъ непосредственно показывать себя, — точно также и музыка своими мотивами даетъ намъ характеръ міровыхъ явленій въ его глубочайшей сущности. Мало того, что движеніе, образованіе и видоизмѣненіе музыкальныхъ мотивовъ анологично-родственны драмъ: поистинъ, представляющая намъ міровую идею драма можетъ быть совершенно ясно понята исключительно въ этихъ движущихся, образующихся и видоизмъняющихся мотивахъ. Такимъ образомъ мы не заблуждались, когда говорили объ апріорной способности человъка къ образованію драмы въ музыкъ. Подобно тому какъ міръ явленій мы представляемъ себъ при помощи законовъ пространства и времени, апріорно начертанныхъ въ нашемъ мозгу, — такъ и сознательное изображеніе идеи міра въ драмѣ должно быть осуществлено посредствомъ внутреннихъ законовъ музыки; послъдніе даютъ себя знать въ душъ драматурга такъ-же безсознательно, какъ законы причинности безсознательно примъняются нами для усвоенія міра явленій.

Ощущеніе этого и прельщало нашихъ великихъ нѣмецкихъ поэтовъ; и можетъ быть они, вмѣстѣ съ тѣмъ, именно этимъ ощущеніемъ открывали таинственную причину кажущейся многимъ необъяснимости Шекспира. Этого огромнаго драматурга дѣйствительно нельзя было постичь по аналогіи съ какимъ-бы то ни было другимъ поэтомъ, и потому эстетическое сужденіе о немъ остается еще совершенно необоснованнымъ. Его драмы явились столь непосредственными снимками съ міра, что въ нихъ совсѣмъ нельзя примѣтить,

т. е. критически удостовърить, художественныхъ средствъ выраженія идеи. А потому наши великіе поэты стали изучать, почти какъ чудеса природы, эти изумительные продукты сверхчеловъческаго генія,—чтобы отыскать законы ихъ возникновенія.

Насколько Шекспиръ возвышался надъ обыкновеннымъ стихотворцемъ, показываетъ исключительно объективная, часто даже ръзкая правдивость, которою проникнутъ каждый штрихъ его драмъ; напримѣръ, въ сценѣ ссоры Брута съ Кассіемъ (въ "Юліѣ Цезарѣ") поэтъ трактованъ прямотаки какъ существо нелѣпое; между тѣмъ мнимаго "стихотворца" Шекспира мы встрѣчаемъ только въ необычайномъ характеръ тъхъ образовъ, что движутся предъ нами въ его драмахъ.—Такимъ образомъ Шекспиръ оставался особнякомъ, ни съ кѣмъ рѣшительно не сравнимый, пока германскій геній не создалъ Бетховена, — существа, которое можетъ быть объяснено только по аналогичномъ сопоставленіи его съ Шекспиромъ.— Попробуемъ мысленно охватить весь въ совокупности Шекспировскій міръ образовъ, всю необычайную рельефность заключающихся въ немъ и соприкасающихся другъ съ другомъ характеровъ, и отдадимъ себъ отчетъ въ томъ общемъ впечатлѣніи, которое этотъ міръ производитъ на наше глубочайшее чувство: если мы сопоставимъ теперь

съ Шекспировскимъ комплексомъ—такой-же комплексъ Бетховенскаго міра мотивовъ, преисполненнаго неотразимой убѣдительности и опредѣленности, то намъ станетъ очевидно, что первый изъ этихъ міровъ совершенно покрываетъ второй и обратно,—такъ что оба они заключаются другъ въ другѣ, хотя и вращаются, казалось-бы, въ весьма различныхъ сферахъ.

Чтобы облегчить себъ это представленіе, возьмемъ, въ качествъ примъра, увертюру къ "Коріолану", гдъ Бетховенъ и Шекспиръ встрътились, оперируя надъ одной и той-же темой. Постараемся вспомнить то впечатлѣніе, которое производила на насъ фигура Коріолана въ Шекспировской драмъ: если мы при этомъ, на первое время, изъ всъхъ деталей сложнаго дъйствія удержимъ въ своей памяти только то, что могло глубоко запечатлъться въ ней единственно своимъ отношеніемъ къ главному лицу, - то всю путаницу взаимоотношеній покроетъ одна фигура непокорнаго Коріолана въ конфликтъ съ его внутреннимъ голосомъ, который еще громче и настойчивъе обращается къ гордости героя устами родной его матери; а изъ всего драматическаго развитія предъ нами встанетъ только преодолъніе гордости этимъ голосомъ, — сломанное упорство чрезмърно сильной натуры. Бетховенъ и выбралъ для своей драмы

только эти два главныхъ мотива, которые даютъ намъ почувствовать внутреннюю сущность обоихъ характеровъ опредъленнъе, чъмъ какое-бы то ни было выясненіе посредствомъ понятій. Если-же мы теперь благоговъйно прослъдимъ то движеніе, которое развивается единственно изъ противоположенія этихъ мотивовъ, всецьло оставаясь музыкальнымъ по своему характеру, и если мы предоставимъ себя вліянію чисто-музыкальныхъ деталей, состоящихъ изъ градацій, соприкасаній, разобщеній и усиленій этихъ мотивовъ, — то предъ нами шагъ за шагомъ пройдетъ драма, по своему выражающая все то, чъмъ старалось заинтересовать насъ представленное произведение сценическаго поэта, въ видъ сложнаго дъйствія и столкновенія многихъ характеровъ, въ томъ числѣ и второстепенныхъ. Что захватывало насъ тамъ, какъ непосредственно намъ показанная, почти пережитая нами самими драма, то самое ощущаемъ мы здѣсь, въ музыкѣ, какъ глубочайшую сущность этой драмы; ибо послѣдняя была тамъ точно такъже выявлена характерами, дъйствовавшими подобно силамъ природы, какъ здъсь идентичными по существу мотивами музыканта, действующими въ этихъ характерахъ. Вся разница въ томъ, что въ одной сферѣ управляютъ одни законы развитія и движенія, въ другой—другіе.

Если музыку мы назвали откровеніемъ глубочайшаго внутренняго сна, являющаго намъ сущность міра, то Шекспиръ будетъ для насъ пробудившимся и продолжающимъ грезить Бетховеномъ. Что разъединяетъ ихъ сферы, — такъ это формальныя условности законовъ усвоенія, дъйствующихъ въ объихъ сферахъ. Поэтому совершеннъйшая художественная форма должна исходить въ своемъ образованіи изъ той пограничной точки, гдъ эти законы могли-бы соприкоснуться. Условность драматическихъ формъ еще пьесы великаго Кальдерона сдълала тепличными, въ буквальномъ смыслѣ слова "искусственными" произведеніями. И вотъ Шекспиръ столь-же непостижимо сколь и несравненно наполнилъ эти условныя формы потокомъ жизни, -- наполнилъ до такой степени, что онъ кажутся намъ цъликомъ вышедшими изъ самой природы: мы словно видимъ предъ собой не созданныхъ искусствомъ, а настоящихъ людей. Но въ то-же время эти людитипы такъ удивительно далеко отстоятъ отъ насъ, что соприкосновение съ ними кажется намъ такъже невозможнымъ, какъ если-бъ предъ нами были призраки.

Бетховенъ, какъ мы видъли, — именно по отношенію къ формальнымъ законамъ своего искусства сыгралъ совершенно ту-же роль, что и Шекспиръ: онъ тоже освободилъ и одухотворилъ ихъ. Будемъ-же надѣяться, что намъ удастся самымъ опредѣленнымъ образомъ отмѣтить указанную выше пограничную или переходную точку обѣихъ названныхъ сферъ, если мы еще разъ возьмемъ себѣ въ непосредственные руководители нашего философа, а именно,—если мы возвратимся къ конечному пункту его гипотетической теоріи сна,—къ объясненію привидѣній.

Надо прежде всего сказать, что дѣло идетъ здѣсь не о метафизическомъ, а о физіологическомъ объясненіи такъ называемаго "второго зрѣнія". Подразумъвается именно, что органъ сна функціонируетъ въ той части мозга, которая возбуждается впечатлѣніями организма, въ глубокомъ снѣ занятаго своими внутренними дълами, — аналогично тому, какъ возбуждается полученными въ состояніи бодрствованія внѣшними впечатлѣніями другая часть мозга, непосредственно связанная съ органами мысли, -- совершенно спокойная и обращенная во внѣшній міръ. Картина сна, конципированная этимъ внутреннимъ органомъ, можетъ быть передана бодрствующему сознанію только черезъ посредство второго сна, предшествующаго пробужденію, который способенъ представить истинное содержаніе перваго сна лишь въ аллегорической формъ; ибо тутъ, при подготовленномъ и наконецъ

наступающемъ полномъ пробужденіи мозга для внѣшняго міра, уже должны быть примѣнены формы познаванія этого міра, т. е. пространство и время. Такимъ образомъ создается картина, вполнъ родственная обычнымъ эмпирическимъ впечатлѣніямъ жизни. Мы сравнивали произведеніе музыканта съ видѣніемъ ясновидящей сомнамбулы, представивъ себъ музыку какъ непосредственное отраженіе глубочайшаго истиннаго сна, увидѣнное сомнамбулой и только въ возбужденнъйшемъ состояніи ясновидънія возвъщенное ею внъшнему міру и на пути возникновенія и образованія міра звуковъ мы нашли протокъ къ такому сомнамбулическому откровенію.—Съ этимъ физіологическимъ феноменомъ сомнамбулическаго ясновидънія, приведеннымъ здѣсь только для аналогіи, сопоставимъ теперь феноменъ духовидънія; воспользуемся тутъ, опять-таки, гипотезой Шопенгауера, по которой этотъ второй феноменъ является ясновидѣніемъ при бодрствующемъ мозгѣ: оно наступаетъ вслъдствіе ослабленія бодрствующаго ока, затуманеннымъ зрѣніемъ котораго внутренній импульсъ пользуется теперь для того, чтобы вступить въ сношение съ сознаниемъ, находящимся въ непосредственной близости къ бдѣнію, и отчетливо показать этому сознанію образъ, появившійся въ глубочайшемъ истинномъ сновидѣніи. Такой

1 1 miles

зримый образъ, проектированный изъ глуби духа, никоимъ образомъ не принадлежитъ реальному міру явленій; тѣмъ не менѣе онъ живетъ предъ взоромъ духовидца со всѣми признаками реальнаго существа. Только въ исключительныхъ случаяхъ удается внутренней волъ проектировать такимъ образомъ картину, видимую ей одной, въ поле бодрствующаго зрѣнія. Вотъ къ такой рѣдчайшей проекціи надо причислить и созданія Шекспира, чтобы объяснить себъ его самого какъ духовидца и заклинателя, который умъетъ на яву представить и себѣ, и намъ усмотрѣнные его внутреннимъ созерцаніемъ человѣческіе образы всѣхъ временъ, —представить такъ ярко, что они кажутся дъйствительно живущими предъ нами.

Лишь только мы вполнъ овладъемъ этой аналогіей со всѣми ея детальными выводами, намъ можно будетъ назвать Бетховена, котораго мы сравнили съ ясновидящимъ сомнамбуломъ, --- могучей подпочвой духовидца Шекспира: то, что говорятъ Бетховенскіе мотивы, —проектируетъ и Шекспировское духотворчество; и оба творца сольются въ одно и то-же существо, если мы предоставимъ музыканту, выступающему въ мірѣ звуковъ, одновременно вступить и въ міръ свѣта. Это можетъ случиться аналогично съ описаннымъ физіологическимъ феноменомъ, который съ одной

стороны создаетъ почву для духовидънія, а съ другой — вызываетъ сомнамбулическое ясновидъніе; причемъ предполагается, что нѣкое внутреннее возбужденіе, въ противуположность внѣшнему эффекту при бдѣніи, проходитъ черезъ мозгъ въ направленіи изнутри—наружу и затрагиваетъ, наконецъ, органы мысли, заставляя ихъ замътить извив то, что въ качествв объекта проникло изнутри. Но мы въдь удостовърили тотъ непреложный фактъ, что при проникновенномъ слушаніи музыки зрѣніе ослабляется и уже не воспринимаетъ объектовъ интенсивно: это и есть, слѣдовательно, то возбужденное глубочайшимъ міромъ сна состояніе, которое ослабляетъ зрѣніе и тѣмъ способствуетъ появленію воплощенныхъ духовъ.

Этимъ гипотетическимъ объясненіемъ физіологическаго феномена, — иначе необъяснимаго, — мы можемъ воспользоваться съ различныхъ сторонъ для освъщенія той художественной проблемы, что мы теперь предъ собой имфемъ: выводы получатся тъ-же самые. Можно выразиться такъ: полное пробужденіе внутренняго музыкальнаго органа заставляетъ духовъ Шекспира звучать, шли-же такъ: мотивы Бетховена вдохновляютъ ослабленное зрѣніе, заставляютъ его ясно видѣть тѣ образы и, воплощаясь въ нихъ, начинаютъ двигаться предъ нашимъ ясновидящимъ взоромъ. Въ обоихъ

случаяхъ, по существу идентичныхъ, — та огромная сила, что при образованіи явленія (въ указанномъ смыслѣ) движется, вопреки законамъ природы, изнутри—наружу, должна зарождаться въ пароксизмѣ глубочайшей муки; и это, вѣроятно,—та самая мука, которая въ обычной жизни вырываетъ крикъ ужаса у человъка, внезапно пробудившагося отъ тягостныхъ видѣній глубокаго сна. Но только здѣсь, въ этомъ изъ ряду вонъ выходящемъ, грандіозномъ случаѣ, созидающемъ жизнь генія человъчества, — мучительное бъдствіе приводитъ къ пробужденію въ новомъ, только такому пробужденію открытомъ мірѣ свѣтлѣйшаго познанія и высшей одаренности.

Это пробужденіе отъ глубочайшаго бъдствія мы переживаемъ при замъчательномъ скачкъ, сдъланномъ инструментальной музыкой-въ музыку вокальную; объясненіе этого именно скачка, оставшагося предосудительнымъ въ глазахъ обыденной эстетической критики, и послужило намъ, когда мы коснулись девятой симфоніи Бетховена, отправнымъ пунктомъ для нашего дополнительнаго, далеко зашедшаго изслѣдованія. То, что мы при указанномъ скачкъ чувствуемъ, есть извъстная переполненность, — сильнъйшая потребность прорваться наружу, весьма подобная побужденію проснуться отъ глубоко-страшнаго сна. И многозначущимъ для художественнаго генія человъчества является то обстоятельство, что этимъ побужденіемъ было вызвано въ данномъ случаѣ художественное дъяніе, которое надълило этотъ геній новой силой, --- способностью породить высшее произведеніе искусства.

Относительно этого произведенія искусства мы можемъ придти къ заключенію, что оно должно быть совершенный шей драмой, т. е. чымъ-то далеко превосходящимъ произведеніе поэзіи въ тъсномъ смыслъ слова. Намъ надо придти къ такому заключенію, потому что мы признали идентичность Шекспировской и Бетховенской драмъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы должны признать, что такая драма такъ-же относится къ "оперъ", какъ Шекспировская пьеса къ литературной драмѣ и какъ Бетховенская симфонія къ оперной музыкѣ.

При оцънкъ указаннаго скачка, сдъланнаго инструментальной музыкой въ музыку вокальную, насъ не долженъ смущать тотъ фактъ, что Бетховенъ въ концъ своей девятой симфоніи просто возвращается къ формальной кантатъ для хора съ оркестромъ. Мы уже опредълили значеніе этой хоральной части и признали, что она всецъло принадлежитъ области музыки. За исключеніемъ глубокаго облагороженія мелодіи, съ формальной стороны здъсь нътъ ничего нами неслыханнаго: это есть кантата со словами текста, къ которому музыка относится совершенно такъ-же, какъ и ко всякому другому вокальному тексту. Мы знаемъ, что стихи текста,—хотя-бы то были стихи Гете или Шиллера,—не могутъ опредълить музыки: это можетъ сдълать только драма,—не драматическое стихотвореніе, а дъйствительно движущаяся предъ нашими глазами драма, какъ ставшее видимымъ воплощеніе музыки, гдъ слова и ръчи принадлежатъ уже не поэтическому замыслу, а исключительно дъйствію.

Такимъ образомъ мы должны опредъленно имъть въвиду, что не само произведение Бетховена, а заключающееся въ этомъ произведении неслыханное художественное дѣяніе музыканта является здѣсь высшей точкой расцвѣта его генія. Это мы и имфемъ въ виду, когда заявляемъ, что художественное произведеніе, всецъло одухотворенное и образованное названнымъ дѣяніемъ, должно дать намъ и совершеннъйшую художественную форму, — именно такую форму, въ которой будетъ вовсе упразднена всякая условность, --- какъ драматическая, такъ въ особенности и музыкальная. Вмёстё съ тёмъ это будетъ новая художественная форма, единственно и вполнъ отвъчающая германскому духу, такъ мощно индивидуализированному въ нашемъ великомъ Бетховенъ,—чисто-человъческая, но все-же созданная Бетховеномъ и ему лично принадлежащая форма, которою владълъ античный міръ, но которой нътъ еще у міра новаго.

Кто рискнетъ присоединиться къ высказаннымъ мною здѣсь взглядамъ относительно Бетховенской музыки, тотъ неминуемо прослыветъ незнающимъ мѣры фантазеромъ; и этотъ упрекъ будетъ ему сдъланъ не только нашими современными образованными и необразованными музыкантами, испытавшими наше "сновидѣніе музыки" по большей части только въ видъ сна Основы въ комедіи "Сонъ въ лѣтнюю ночь", — но также и нашими литературными поэтами, и даже художниками образнаго искусства, -- поскольку эти господа вообще интересуются вопросами, которые будто-бы вовсе и "не входятъ въ ихъ сферу". Но намъ не трудно будетъ спокойно претерпъть этотъ упрекъ,--хотя-бы онъ былъ высказанъ съ явной неуважительностью, даже съ умышленнымъ, разсчитаннымъ на оскорбленіе пренебреженіемъ; ибо намъ очевидно, что эти господа и не въ силахъ усмотрѣть того, что открылось для насъ: въ лучшемъ случаѣ они были-бы въ состояніи тутъ что нибудь уразумѣть лишь въ той мѣрѣ, въ какой это оказалось-бы для нихъ необходимымъ, чтобы выяснить самимъ себѣ свою собственную непроизводительность. Но что они въ ужасѣ отшатнутся отъ такого "уразумѣнія", — это намъ, опять-таки, не должно показаться непонятнымъ.

Если мы представимъ себъ характеръ нашей теперешней литературной и художественной общественности, то намъ бросится въ глаза замѣтное превращеніе, случившееся съ нею приблизительно за одно поколъніе. Теперь все здъсь, повидимому, не только "уповаетъ", но даже какъ-будто до извъстной степени увърено въ томъ, что на великій періодъ германскаго возрожденія, съ его Гете и Шиллеромъ, слъдуетъ смотръть съ оттънкомъ пренебреженія, хотя-бы и умъреннаго. При поколъніи предыдущемъ дѣла обстояли нѣсколько иначе: въ тѣ дни характеръ нашего вѣка былъ откровенно настроенъ критически по существу; духъ времени называли "бумажнымъ" и считали, что даже образное искусство утратило всякую оригинальность, что оно, способное теперь исключительно къ репродукціи, только собираетъ и примѣняетъ доставшіеся по наслѣдству типы. Мы

должны признать, что тогда на вещи смотръли болъе правильно и выражались болъе честно, чамъ это принято въ настоящіе дни. Поэтому насъ скоръе всего пойметъ тотъ, кто держится прежнихъ взглядовъ, --- несмотря на апломбъ нашихъ литераторовъ, литературныхъ скульпторовъ, архитекторовъ и прочихъ артистовъ, имѣющихъ сношеніе съ общественностью; и думается, что сознательный собесъдникъ легче согласится съ нами, если мы постараемся показать ему въ истинномъ освъщеніи то несравненное значеніе, которое пріобрѣла музыка для нашего культурнаго развитія. А для этого мы должны, въ заключеніе, выплыть изъ глубинъ міра внутренняго, куда мы преимущественно погружались, какъ того требовало до сихъ поръ наше изслъдованіе. -- и взглянуть на міръ внѣшній, въ которомъ мы живемъ и давленіе котораго побудило ту внутреннюю сущность завладъть своею нынъшнею силой и проявлять ее наружу.

Чтобы намъ при этомъ не запутаться въ сбманчивой и широко разбросавшейся культуро- исторической паутинъ, установимъ сразу и опредъленно характеристичную черту общественнаго духа нашихъ дней.

Въ то время какъ германское оружіе побъдоносно проникаетъ въ центръ французской ци-

вилизаціи, въ душѣ нашей внезапно начинаетъ шевелиться чувство стыда, вызываемое нашею зависимостью отъ этой цивилизаціи, и требуетъ отъ общества, чтобы оно скинуло съ себя парижскія модныя платья. Такимъ образомъ нашему патріотическому чувству начинаетъ, наконецъ, казаться неприличнымъ именно то, что не только казалось непредосудительнымъ эстетическому понятію націи и такъ долго выносилось ею безъ всякаго протеста, но къ чему нашъ общественный духъ даже стремился съ горячимъ рвеніемъ. Что, въ самомъ дѣлѣ, могъ-бы сказать художнику брошенный имъ взглядъ на нашу общественность, которая, съ одной стороны, только давала нашимъ юмористическимъ журналамъ матеріалъ для каррикатуръ, — пока наши поэты, съ другой стороны, продолжали безмятежно славословить "германскую женщину"?--Мы полагаемъ, что при разборъ столь своеобразно сложнаго явленія нельзя упустить ни одной пояснительной черты. -- Быть можетъ, однако,—на это явленіе слідовало смотріть какъ на зло преходящее? Вѣдь позволительно было ожидать, что кровь нашихъ сыновей, братьевъ и супруговъ, во имя самыхъ возвышенныхъ идей германскаго духа пролитая на самыхъ смертоубійственныхъ въ исторіи поляхъ битвы, — что эта кровь покроетъ, по крайней мъръ, краской стыда

щеки нашихъ дочерей, сестеръ и супругъ: благороднъйшая горесть могла-бы внезапно пробудить въ нихъ гордость, и онъ перестали-бы представлять себъ своихъ мужей какъ каррикатуръ самаго уморительнаго сорта. Къ чести германскихъ женщинъ будемъ охотно върить, что въ этомъ направленіи уже пробуждается достойное чувство; и все-таки каждый улыбнется, когда замътитъ, что самое первое требованіе, которое имъ ставится, это-купить себъ новое платье. Кто-же не почувствуетъ, что здъсь ръчь можетъ идти лишь о новомъ и, кажется, очень неискусномъ маскарадъ? Въдь это не есть какая-нибудь случайная прихоть нашей общественной жизни, что надъ нами господствуетъ мода, --- вѣдь и въ исторіи современной цивилизаціи вполнѣ установлено, что причуды именно парижскаго вкуса диктуютъ намъ законы моды. Дъйствительно, — французскій вкусъ, т. е. собственно духъ Парижа и Версаля, за двъсти послѣднихъ лѣтъ былъ единственнымъ продуктивнымъ ферментомъ европейскаго развитія; въ то время какъ ни одна нація не была уже въ состояніи производить художественныхъ типовъ,--французскій духъ еще продуцировалъ, по крайней мъръ, внъшнюю форму общества и до сегодняшняго дня продуцируетъ-модное платье.

Пусть это будутъ явленія низшаго порядка, они все-же отвѣчаютъ подлинному французскому духу; они выражаютъ его совершенно такъ-же опредѣленно и очевидно, какъ выражались въ своихъ художественныхъ типахъ итальянцы Возрожденія, римляне, греки, египтяне и ассирійцы. И ничъмъ не показываютъ намъ французы болъе ясно, что въ современной цивилизаціи они являются народомъ-властителемъ, какъ тъмъ, что наша фантазія настраивается смішливо отъ одной даже мысли-эмансипироваться отъ ихъ моды. Мы тотчасъ-же признаёмъ, что какая-то "нѣмецкая мода", поставленная въ противовъсъ модъ французской, была-бы чѣмъ-то совершенно абсурднымъ; и такъ какъ наше чувство все-же возстаетъ противъ такого владычества, то намъ приходится, въ концъ концовъ, убъдиться, что надъ нами поистинъ тяготъетъ проклятіе, избавить отъ котораго моглобы насъ только безконечно глубокое возрожденіе. А именно, вся наша основная сущность должна была-бы такъ переродиться, чтобы само понятіе "мода" считалось совершенно безсмысленнымъ даже въ формировкѣ нашей внѣшней жизни.

1

Въ чемъ должно заключаться наше возрожденіе,— это мы съ большой осторожностью попытаемся рѣшить лишь послѣ того, какъ прослѣдимъ причины глубокаго упадка нашего общественно-

художественнаго вкуса. Мы не безъ успъха примъняли аналогіи, касаясь главнаго предмета нашихъ изслъдованій, —для полученія выводовъ, которыхъ инымъ путемъ трудно добиться; попробуемъ-же еще разъ на нъкоторое время уклониться въ область созерцанія, на видъ отдаленную отъ нашей темы, —гдъ однако мы можемъ, во всякомъ случаъ, пополнить свои взгляды на пластическій характеръ нашей общественности.

Если мы хотимъ представить себъ настоящій рай продуктивности человъческаго духа, то намъ надо мысленно перенестись во времена, предшествовавшія изобрѣтенію шрифта и способовъ его начертанія на пергаментъ или бумагъ. Мы увидимъ, что именно тогда родилась вся та культурная жизнь, которая теперь продолжаетъ существовать только какъ объектъ размышленія или утипитарнаго примъненія. Въдь въ тъ времена и сама поэзія была не что иное, какъ истинное творчество миновъ, т. е. идеальныхъ событій, въ которыхъ съ объективной правдивостью, въ смыслъ непосредственнаго появленія духовъ, отражалась разнохарактерная человъческая жизнь. Способность къ такому творчеству мы замѣчаемъ у всякаго народа благородной породы, -- до тахъ поръ, пока эти народы не получили шрифта. Но съ того времени ихъ поэтическая сила идетъ на убыль; языкъ,

дотолѣ слагавшійся жизненно, словно въ постоянномъ природномъ процессѣ развитія, впадаетъ въ процессъ кристализаціи и костенѣетъ; стихотворное искусство становится искусствомъ наведенія прикрасъ на старые мивы, — такъ какъ уже нътъ силъ создать новые, -- и въ концъ концовъ превращается въ реторику и діалектику. Теперь представимъ себъ скачокъ, сдъланный шрифтомъ въ искусство книгопечатанія. Дорогую, писанную отъ руки книгу отецъ семейства читалъ вслухъ своимъ домочадцамъ и гостямъ; нынѣ-же печатную книгу всякій читаетъ молча про себя, и писатель пишетъ для широкаго круга читателей. Надо припомнить религіозныя секты реформаціонной эпохи, всъ ихъ диспуты и трактаты, — чтобы заглянуть въ то бъщенство безумія, которое охватило человъческія головы, набитыя буквами. Можно предположить, что только великолъпный хоралъ Лютера спасъ здоровый духъ реформаціи, ибо этотъ хоралъ убъдилъ сердца и тъмъ вылечилъ мозги отъ буквенной болъзни. Впрочемъ, съ книгопечатникомъ духъ народа еще могъ сговориться, какъ ни печальны были для второго эти сношенія. Но съ изобрѣтенія газетъ, со времени полнаго расцвъта журнальнаго бытія, —пришлось-таки этому доброму духу народа окончательно ретироваться отъ жизни. Ибо теперь стали царствовать

только м н в н і я, именно— "публичныя"; ихъ можно получить за деньги, какъ публичныхъ женщинъ. Кто получилъ въ руки газету, тотъ, кром макулатуры, запасся еще и мн в немъ этой газеты; ему не надо больше ни думать, ни размышлять: чернымъ по б в лому за него все уже обдумано, какого мн в нія сл в держаться о Господ в Бог в и обо всемъ мір в. Вотъ и парижскій модный журналъ указываетъ "германской женщин в пріобр в надо од в в за подобныхъ д в полное право направлять насъ въ подобныхъ д в полное право направлять насъ въ подобныхъ д красочнаго иплюстратора нашего журнально-бумажнаго міра.

Если мы теперь проведемъ параллель между превращеніемъ поэтическаго міра въ міръ журнально-литературный и тѣмъ превращеніемъ, которое міръ испыталъ какъ форма и цвѣтъ, то мы и тутъ придемъ къ тому-же результату.

Кто дерзнулъ-бы высокомърно сказать о себъ, что онъ дъйствительно можетъ составить себъ понятіе о величіи и божественной возвышенности пластическаго древне-греческаго міра? Достаточно только взглянуть на любой кусокъ отъ сохранившихся до насъ развалинъ этого міра: охваченные священнымъ трепетомъ, мы тотчасъ-же чувствуемъ, что стоимъ здъсь предъ нъкой жизнью, судить о

которой мы не въ состояніи, такъ какъ все еще не можемъ найти для этого ни малъйшей критической мѣрки. Античный міръ пріобрѣлъ себѣ особую привилегію: онъ самъ изъ своихъ развалинъ во всѣ времена поучаетъ насъ, какъ придать скольконибудь сносный видъ всему послъдующему ходу міровой жизни. Мы чрезвычайно обязаны великимъ итальянцамъ, которые заново оживили намъ эту науку и великодушно завъщали ее нашему новому міру. Въ высокой степени одаренный богатой фантазіей народъ страстно, изо всѣхъ силъ трудился надъ воздълываніемъ этого ученія; по прошествіи одного чудеснаго стольтія оно, какъ сновидѣніе, выплываетъ изъ исторіи, которая съ тѣхъ поръ ошибочно овладѣваетъ родственнымъ на видъ народомъ, —словно желая посмотрѣть, какую форму и какой цвътъ извлечетъ изъ него міръ. Нѣкій умный государственный мужъ, онъ-же іерархъ, старался привить итальянское искусство и образованіе духу французскаго народа, послѣ того какъ въ этомъ народъ былъ окончательно истребленъ протестантскій духъ: послѣднему пришлось видѣть здѣсь паденіе своихъ благороднѣйшихъ представителей, и то, что еще пощадила парижская Вареоломеева ночь, было потомъ тщательно выжжено до послъдняго корешка. Остатку націи была предложена "художественность". Но такъ какъ

фантазія у этой націи оскудъла или выдохлась, то продуктивность народа ни въчемъ не могла себя проявить; въ особенности онъ показалъ себя неспособнымъ создать произведеніе искусства. Лучше удалось изъ самого француза сдълать искусственнаго человъка: художественныя представленія не вмъщались въ его фантазіи, но человъкъ самъ въ себъ сталъ извъстнымъ искусственнымъ представленіемъ. Это могло считаться даже чъмъ-то античнымъ, — разъ предполагалось, что человъкъ долженъ сначала самъ въ себъ сдълаться художникомъ, а потомъ уже создавать художественныя произведенія. И если впереди шелъ обожаемый галантный король, держась съ изысканной тонкостью, проникавшей все и вся, и тъмъ самымъ подавая другимъ благой примъръ, — то было легко, спускаясь чрезъ толпу придворныхъ по ранговой лѣстницѣ внизъ, въ концъ концовъ привесть весь народъ къ усвоенію галантныхъ манеръ; перерождаясь въ культивированіи этихъ манеръ, французъ могъ уже, наконецъ, считать себя выше итальянца Возрожденія въ томъ отношеніи, что тотъ только создавалъ произведенія искусства, тогда какъ французъ самъ сталъ произведеніемъ искусства.

Можно сказать, что французъ есть продуктъ особаго искусства,—искусства выражаться, двигаться и одъваться. Его закономъ является тутъ

I mail

"в к у с ъ",—слово, обозначающее весьма низкую чувственную функцію, но возведенное здъсь въ нъкую духовную тенденцію. И французъ пользуется этимъ вкусомъ, чтобы вкушать самого себя, то есть пробовать, —вкусный-ли соусъ онъ изъ себя приготовилъ. Безспорно, онъ дошелъ въ этомъ дѣлѣ до виртуозности: французъ весь насквозь "moderne", и когда онъ въ такомъ видѣ становится предъ лицомъ всего цивилизованнаго міра, какъ образецъ для подражанія, -- то не его вина, если подражанія выходятъ неуклюжими: напротивъ, ему всегда скорѣе льститъ, что только онъ одинъ оригиналенъ тамъ, гдь всь другіе чувствують себя обреченными на подражаніе ему.—Вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ человѣкъ есть воплощенный "журналъ"; въ его глазахъ образное искусство, а не менъе того и музыка, являются объектами для "фельетона". Съ первымъ изъ этихъ искусствъ онъ, будучи человѣкомъ вполнѣ современнымъ, устроился совершенно такъ-же, какъ со своимъ платьемъ, относительно котораго онъ дъйствуетъ исключительно въ угоду новизнъ, т. е. въчно подвижной измънчивости. Главнымъ дъломъ является здъсь меблировка; къ ней архитекторъ подгоняетъ постройку стънъ. Тенденція, игравшая тутъ раньше роль, до великой революціи была еще оригинальна въ томъ смыслѣ, что она приноравливалась къ характеру господствующаго класса обще-

ства, какъ платья-къ тъламъ и прически-къ головамъ. Съ тъхъ поръ тенденція эта пришла въ упадокъ: высшіе классы стали робко воздерживаться отъ задаванія тона въ модѣ и предоставили иниціативу болѣе широкимъ слоямъ населенія (мы всегда имъемъ въ виду Парижъ), достигшимъ вліянія. Тонъ стали задавать женщины такъ называемаго "demi monde'a" со своими любовниками. Парижская дама старается прельщать своего супруга, подражая нравамъ и одеждамъ этого полусвъта: въдь здъсь все, надо тоже сказать, еще до такой степени оригинально, что нравы и одежды принадлежатъ къ одному и тому-же роду понятій и взаимно дополняютъ другъ друга. Въ этихъ сферахъ уже отреклись отъ всякаго вліянія на образное искусство, которое въ концъ концовъ всецъло перешло въ вотчину торговцевъ модно-художественными товарами, въ видъ бездълушекъ и обойныхъ работъ, -- почти какъ въ зачаточныя времена искусствъ у номадовъ. Такъ какъ сама мода не въ состояніи создать ничего дъйствительно новаго, то единственной ея задачей становится, при постоянной потребности въ новизнъ, -- забота о чередованіи крайностей: это и есть, въ самомъ дълъ, та тенденція, которую приняли теперь наши странные художники, чтобы снова вывести на свътъ благородныя, конечно не ими изобрѣтенныя формы

искусства. Теперь чередуются и смѣшиваются другъ съ другомъ антикъ и рококо, готика и ренессансъ; фабрики поставляютъ группы Лаокоона, китайскій фарфоръ, копированныхъ Рафаэлей и Мурильо, этрусскія вазы, ковровыя ткани среднихъ вѣковъ; сюда подгоняютъ мебель à la Pompadour, гипсъ à la Louis XIV; архитекторъ обноситъ все это флорентинскимъ стилемъ и сажаетъ сверху группы Аріадны.

Искусство "модернъ" становится также новымъ принципомъ эстетовъ: оригинальность послѣднихъ заключается въ полномъ отсутствіи у нихъ всякой оригинальности, и неизмъримый доходъ приноситъ имъ торговля всѣми художественными стилями, которые стали понятны и доступны всъмъ и каждому, на любой вкусъ.—Впрочемъ, за искусствомъ "модернъ" признается и одинъ новый гуманитарный принципъ, именно-демократизація художественнаго вкуса. Это значитъ: въ названномъ явленіи надо почерпнуть надежду на народное образованіе; ибо искусство и его продукты перестали служить усладой однихъ только привилегированныхъ классовъ, теперь самый наипростой буржуа имъетъ возможность любоваться благороднъйшими образцами искусства, поставивъ ихъ у себя на каминѣ; это до извѣстной степени доступно даже нищему у витринъ художественныхъ лавокъ.

Во всякомъ случаѣ, такимъ положеніемъ вещей надо удовольствоваться; когда рѣшительно все лежитъ въ перемежку передъ нами,—какъ моглабы даже самая одаренная голова изобрѣсти какойнибудь новый художественный стиль въ образномъ искусствѣ, равно какъ и въ литературѣ? Это былобы непостижимо.

Мы должны вполнъ согласиться съ такимъ заключеніемъ; ибо тутъ предъ нами тотъ-же историческій результать и тъ-же его послъдствія, что мы видимъ въ исторіи нашей цивилизаціи вообще. Одно время можно было думать, что эти послъдствія потеряють свою остроту, именно при гибели нашей цивилизаціи; приблизительно этого слѣдо- . вало ожидать въ томъ случаѣ, если-бы вся исторія полетъла вверхъ ногами, -- какъ это и стояло въ программѣ соціальнаго коммунизма, когда онъ предполагалъ овладъть современнымъ міромъ, сдълавшись практической религіей. Во всякомъ случаъ мы съ нашей цивилизаціей приблизились, въ отношеніи ея пластической формы, къ концу всякой истинной продуктивности, и въ заключение стараемся привыкнуть къ мысли, что въ той области, гдъ античный міръ стоитъ предъ нами какъ недостижимый образецъ, мы ничего уже не можемъ ожидать подобнаго этому образцу. И намъ слъдуетъ, можетъ быть, примириться съ этимъ страннымъ результатомъ современной цивилизаціи, который иному кажется даже весьма достойнымъ уваженія, —примириться и чувствовать тоже самое, что мы чувствуемъ теперь, когда проектъ новой нѣмецкой моды для нашихъ платьевъ, —т. е. вѣрнѣе для платьевъ нашихъ женъ, —намъ приходится признать тщетной реакціонной попыткой противъ духа нашей цивилизаціи.

Ибо насколько хватаетъ наше зрѣніе,—всюду властвуетъ надъ нами мода.

Но рядомъ съ этимъ міромъ моды одновременно возникъ для насъ и другой міръ. Какъ среди универсальной римской цивилизаціи родилось христіанство, такъ теперь изъ хаоса современной цивилизаціи распускаетъ свой цвѣтъ музыка. И та религія, и это искусство говорятъ намъ: "наше царство—не отъ міра сего". А это значитъ: "мы исходимъ изъ глубины, вы-же идете съ поверхности; мы вырасли изъ сущности вещей, вы-же—изъ ихъ видимости".

Пусть каждый на себѣ испытаетъ,—какъ весь нашъ новомодный міръ явленій, которымъ онъ, къ своему отчаянію, былъ безвыходно со всѣхъ сторонъ окруженъ,—какъ весь этотъ міръ внезапно исчезнетъ предъ нимъ въ ничто, лишь только раздадутся первые-же такты той божественной сим-

фоніи! Развѣ было-бы возможно въ современномъ концертномъ залѣ (гдѣ тюркосы и зуавы чувствовали-бы себя, безъ сомнѣнія, весьма уютно!) благоговѣйно внимать этой музыкѣ, если-бы отъ нашего оптическаго воспріятія, —феноменъ, о которомъ, мы говорили выше, —не исчезало все, что мы видимъ вокругъ? Такой адэкватной силой, въ самомъ серьезномъ смыслѣ слова, является музыка рядомъ со всею нашей новѣйшей цивилизаціей: музыка просто упраздняетъ ее, какъ сіянье дня—свѣтъ лампы.

Трудно себъ ясно представить, въ какомъ именно видъ проявляла музыка свою особую мощь лицомъ къ лицу съ міромъ явленій во времена былыя. Мы должны однако предположить, что музыка эллиновъ глубоко проникала въ самый міръ явленій и сливалась съ законами его видимости. Числа Пинагора можно, конечно, понять какъ нѣчто живое-только изъ музыки; по законамъ эвритміи архитекторъ воздвигалъ зданія, законами гармоніи руководствовался скульпторъ, схватывая человъческую фигуру; правила мелодики дѣлали поэта-пъвцомъ, изъ хорового пънія проектировалась драма на сцену: всюду мы замѣчаемъ, что законъ внѣшній, правящій видимымъ міромъ, опредѣлялся закономъ внутреннимъ, постигаемымъ только въ духъ музыки. Чисто античное дорическое государство,

которое Платонъ хотѣлъ установить какъ философскую идею, даже военную организацію, битву, все направляли законы музыки съ тою-же увѣренностью, съ какой они направляли танецъ. Но затѣмъ рай былъ утраченъ: первоисточникъ мірового движенія изсякъ. Міръ продолжалъ еще двигаться, какъ шаръ отъ полученнаго толчка, кружась въ пространствѣ вокругъ своей оси, но побуждающая къ движенію душа міра уже не шевелилась въ немъ; такимъ образомъ должно было, наконецъ, ослабѣть и само движеніе, пока душа міра не была опять разбужена.

Это духъ христіанства вновь оживилъ музыку. Музыка просвѣтлила взоръ итальянскаго живописца, вдохновила его зрительную способность, — и погибавшій въ церкви духъ христіанства проникъ, сквозь видимость вещей, въ душу музыки. Почти всѣ эти великіе живописцы были музыкантами, и когда мы погружаемся въ созерцаніе ихъ святыхъ и мучениковъ, — это духъ музыки заставляетъ насъ забывать, что мы пользуемся зрѣніемъ. — Но вотъ наступило владычество моды: подобно тому, какъ духъ церкви подпалъ подъ искусственное воздѣйствіе іезуитовъ, точно такъ-же и музыка съ живописью и скульптурой обратились въ бездушныя хитроумныя игрушки. На пути нашего великаго

Бетховена мы прослѣдили чудесный процессъ эмансипаціи мелодіи отъ господства моды и засвидътельствовали, что Бетковенъ-безконечно своеобразнымъ примѣненіемъ всего того матеріала, который съ большимъ трудомъ ограждался его славными предшественниками отъ вторженія этой моды, — возвратилъ мелодіи ея въчный типъ, а самой музыкъ — ея безсмертную душу. Съ божественной наивностью, ему одному присущей, наложилъ нашъ маэстро на свою побъду клеймо полной сознательности, сопровождавшей одержаніе этой побъды. Въ стихотвореніи Шиллера, которое онъ внесъ въ дивную заключительную часть своей девятой симфоніи, онъ больше всего подчеркнулъ радость природы, освобожденной отъ владычества "моды". Посмотрите, какъ замѣчательно представляетъ онъ себъ слова поэта:

> "Deine Zauber binden wieder, Was die Mode streng getheilt". "Твои чары снова связываютъ то, что мода строго разъединила".

Какъ мы уже видъли, Бетховенъ, подписывая слова Шиллера подъсвоей мелодіей, обращался съ первыми только какъ съ "вокальнымъ текстомъ", т. е. согласовалъ лишь общій характеръ стихотво-

ренія съ духомъ своей мелодіи. То, что принято понимать подъ выраженіемъ "правильная декламація" (въ драматическомъ смыслѣ), онъ тутъ оставилъ почти вовсе безъ вниманія; и даже приведенный выше стихъ "was die Mode streng getheilt при пъніи первыхъ трехъ строфъстихотворенія проходитъ предъ нами безъ всякаго характернаго подчеркиванія словъ. Но потомъ, когда диоирамбическое воодушевленіе неслыханно наростаетъ, Бетховенъ декламируетъ слова этого стиха съ полнымъ драматическимъ аффектомъ. И вотъ, при повтореніи ихъ въ угрожающемъ, почти бѣшеномъ униссонъ, слово "streng" (строго) показалось ему недостаточно сильнымъ для гнъвнаго выраженія музыкальной фразы. Слѣдуетъ замѣтить, что такой эпитетъ, умъренно характеризующій дъйствіе моды, поэтъ ввелъ сюда только впослѣдствіи, видоизмѣнивъ этотъ стихъ; въ первомъ изданіи своей "пѣсни къ радости" Шиллеръ напечаталъ:

"Was der Mode Schwert getheilt",

т. е. "то, что раздѣлилъ мечъ моды".

Этотъ "мечъ" опять-таки показался Бетховену неподходящимъ,—слишкомъ благороднымъ и героическимъ въ отношеніи моды. Тогда онъ собственной полномочной властью ставитъ сюда слово "frech" (нагло), и вотъ мы поемъ:

"Was die Mode frech getheilt",

т. е. "то, что мода нагло раздълила" *).

Что можетъ быть выразительнъе этого замъчательнаго, до страстности сильнаго художественнаго момента? Мы словно видимъ предъ собой Лютера въ его гнъвномъ выступленіи противъпапы!—

*) Гертелевское полное изданіе сочиненій Бетховена во всемъ остальномъ заслуживаєть полной признательности; но одинъ изъ членовъ музыкальнаго "Ферейна умѣренности",— какъ я въ другомъ мѣстѣ назвалъ коммиссію, завѣдывавшую "критикой" этого изданія,— на стр. 260 и слѣд. партитуры девятой симфоніи уничтожилъ этотъ весьма выразительный штрихъ и вмѣсто "frech" Шоттовскаго оригинальнаго изданія самовольно поставилъ благоприличное, благонравно-умѣренное "streng". Я только-что случайно обнаружилъ этотъ подлогъ, который способенъ,—если подумать о его мотивахъ,—наполнить насъ страшными предчувствіями о судьбѣ твореній нашего великаго Бетховена: что съними будетъ, если они на всѣ времена обречены той критикѣ, которая прогрессивно развивается въ указанномъ смыслѣ?

Прим. автора.

Съ этимъ примъчаніемъ Вагнера нельзя, конечно, не согласиться принципіально, т. е. какъ съ мыслью о детальной неприкосновенности (въ редакціонномъ отношеніи) твореній великихъ людей, когда та или иная частность хотя сколько-нибудь сушественна, характерна и не произошла отъ случайнаго недосмотра шли простой ошибки (въдь имъются "поклонники", которые даже опечатки ревниво сохраняють!). И разумъется, анонимному члену "Ферейна умъренности" не слъдовало еще разъ мънять слова, о которомъ идетъ ръчь, хотя-бы и руковолствуясь послъдней редакціей самого Шиллера, а не только своею умъренностью. Однако не подлежить сомнънію, что въ данномъ случать все, что говорить Вагнеръ о намъреніяхъ Бетховена относительно этого слова, гораздо болъе характерно для самого Вагиера, чтомъ дълъ, допустить, что послъдній въ указантовена. Трудно, въ самомъ дълъ, допустить, что послъдній въ указан-

Конечно мы имѣемъ основаніе думать, что наша цивилизація, поскольку она опредѣляєтъ художественнаго человѣка, можетъ вновь одухотвориться только духомъ нашей музыки, —той музыки, которую Бетховенъ освободилъ отъ оковъ моды. И въ этомъ смыслѣ задача новой, болѣе одушевленной цивилизаціи, быть можетъ образующейся

ной фразъ, въ видъ исключенія, придалъ значеніе отдъльнымъ словамъ,какъ сдълалъ-бы, конечно, на его мъстъ первый. Напротивъ, имъются всѣ основанія предположить, что слово "frech" явилось тутъ случайно, т. е. безъ особаго умысла со стороны Бетховена. Иначе ничемъ нельзя было-бы объяснить, почему онъ во всф остальные моменты этого апоееоза радости, въ томъ числъ и въ моменты отнюдь не менъе важные и яркіе, съ полнымъ пренебреженіемъ относился ко всѣмъ вообще словамъ, произвольно играя ими. Это можно объяснить только весьма върнымъ указаніемъ самого Вагнера, что Бетковенъ всегда имълъ въ виду лишь общій характеръ и общее настроеніе Шиллеровскаго стихотворенія (кстати сказать, изрядно сокращеннаго композиторомъ), а не отдъльныя слова. Эпитету, заинтересовавшему Вагнера, въроятно не придавалъ серьезнаго значенія и самъ Шиллеръ, который счелъ нужнымъ только уничтожить дъйствительно неудачный "мечъ". А потому я лично, напримъръ, въ моемъ эквиритмичномъ переводъ "Радости" со спокойной совъстью выпустилъ вовсе этотъ эпитетъ и перевелъ данные два стиха такъ:

"Ты волшебно вновь связуешь Все, что дълить міръ суеть",—

гдѣ и сама "мода" замѣнена "міромъ суетъ" не только по требованіямъ эквиритмики и ради риемы, а и потому въ особенности, что русское слово "мода", оставленное безъ поясненій, создаетъ представленіе болье узкое, чѣмъ тотъ "міръ суетъ", который имѣли въ виду Шиллеръ въ своей одѣ и Вагнеръ въ настоящемъ трактатѣ.

Прим. переводчика.

такимъ путемъ, —принести намъ религію, которою вся эта цивилизація будетъ всецѣло проникнута: такая задача очевидно можетъ быть удѣломъ только германскаго духа. А этотъ духъ мы и сами научимся вѣрно понимать лишь тогда, когда откажемся отъ всякой приписанной ему ложной тенденціи.

Но насколько трудно такое върное самопознаніе, разъ рѣчь идетъ о цѣлой націи,—это мы видимъ теперь, къ истинному ужасу своему, на примърѣ нашего сосѣда, до сего времени столь могущественнаго французскаго народа; этотъ примъръ долженъ послужить намъ серьезнымъ поводомъ для собственнаго самоизслѣдованія; и тутъ намъ, по счастью, достаточно будетъ примкнуть къ серьезнымъ усиліямъ нашихъ великихъ нѣмецкихъ поэтовъ, основное стремленіе которыхъ— сознательное или безсознательное—было именно такое самоизслѣдованіе.

Имъ, навърное, казалось сомнительнымъ, чтобы нъмецкое общество, формирующееся такъ тяжело, такъ неповоротливо, —могло когда-либо съ нъкоторымъ успъхомъ постоять за себя лицомъ къ лицу съ нашимъ сосъдомъ романскаго происхожденія, съ его легкими и увъренными въ своей гибкости формами. Съ другой стороны, однако, за германскимъ духомъ постоянно признавалось неоспори-

мое преимущество, выражающееся въ присущей ему глубинѣ и искренности міросозерцанія и проникновенія въ міровыя явленія. А потому всегда возникалъ вопросъ: какъ воспользоваться этимъ преимуществомъ во имя счастливаго развитія національнаго характера, а затѣмъ также и во имя благотворнаго вліянія на духъ и характеръ сосѣднихъ народовъ? Вѣдь весьма очевидно, что до сихъ поръ всякаго рода вліянія и воздѣйствія шли въ обратномъ направленіи, принося намъ больше вреда, чѣмъ пользы.

Если мы правильно поймемъ оба основныхъ поэтическихъ замысла, подобно двумъ главнымъ артеріямъ проходящіе черезъ всю жизнь величайшаго изъ нашихъ поэтовъ, то мы тѣмъ самымъ получимъ превосходное руководство для изслѣдованія проблемы, которая представилась этому свободнѣйшему германцу уже въ самомъ началѣ его несравненнаго поэтическаго поприща. — Мы знаемъ, что концепціи "Фауста" и "Вильгельма Мейстера" возникли буквально одновременно, — въ первый періодъ полнѣйшаго расцвѣта поэтическаго генія Гете. Глубокій замыселъ, охватившій поэта, побудилъ его прежде всего выполнить начальныя сцены "Фауста"; но словно устрашенный безмѣрной грандіозностью собственной концепціи, онъ оставилъ

это мощное предпріятіе и обратился къ болѣе спокойному выясненію проблемы—въ "Вильгельмъ Мейстеръ". Въ зръломъ возрастъ онъ и закончилъ этотъ плавно-текучій романъ. Его героймолодой нъмецъ изъ бюргерской семьи, ищущій себъ надежную и пріятную форму; чрезъ міръ театра, сквозь блескъ высокороднаго общества авторъ приводитъ его къ выгодному космополитизму. Этому герою данъ въ спутники добрый геній, котораго онъ понимаетъ только поверхностно: приблизительно такъ, какъ самъ Гете въ то время понималъ музыку, Вильгельмъ Мейстеръ постигаетъ Миньону. Поэтъ даетъ намъ ясно почувствовать, что противъ Миньоны свершено возмутительное преступленіе; своего героя онъ, однако, оставляетъ внѣ такого чувства, чтобы привести его къ красивой законченности, — въ атмосферу, свободную отъ всякихъ бурныхъ порывовъ и трагическихъ эксцентричностей. Герой осматриваетъ картины въ галлереяхъ. По случаю смерти Миньоны исполняется музыка, -и Робертъ Шуманъ дъйствительно написалъ ее впослъдствіи.—Кажется, Шиллеръ былъ возмущенъ послъдней книгой "Вильгельма Мейстера"; но онъ не могъ вывести своего великаго друга изъ его страннаго заблужденія. Не могъ тъмъ болѣе, что

вѣдь Гете все-же создалъ Миньону и этимъ созданіемъ своимъ вызвалъ предъ нами къ жизни чудесный новый міръ; значитъ, оставалось предположить, что авторъ "Вильгельма Мейстера" впалъ въ глубочайшую духовную разсѣянность, и другу не дано было развѣять ее. Пробудиться отъ нея могъ только Гете самъ, —и онъ пробудился: ибо въ глубокой старости закончилъ онъ своего "Фауста". Все, что когда-либо его разсвивало, онъ собралъ здѣсь воедино въ первообразѣ всяческой красоты: саму Елену, -- этотъ античный идеалъ, совершенный и законченный, — вызываетъ онъ изъ царства тѣней и сочетаетъ ее со своимъ Фаустомъ. Но удержать эту тѣнь надолго—заклинаніе не можетъ: она улетучивается въ видъ уплывающаго вдаль облачка, --- и Фаустъ глядитъ ему вослѣдъ съ задумчивой, но безболѣзненной грустью. Послать Фаусту избавленіе могла только Гретхенъ, — эта ранняя жертва, незамътно продолжавшая жить въчнымъ тепломъ въ самой глубинѣ его сердца: изъ міра блаженныхъ она подаетъ ему руку. И если мы, не разъ прибъгавшіе въ нашемъ изслъдованіи къ аналогичнымъ уподобленіямъ изъ области философіи и физіологіи, попробуемъ и теперь найти себъ толкованіе этого глубочайшаго созданія поэзіи, то мы скажемъ:

"Все преходящее—только подобіе"—есть духъ образнаго искусства, къ которому Гете такъ долго и ревниво стремился, —тогда какъ "Женственно-въчное ввысь насъ влечетъ" *) есть духъ музыки, который вознесся изъ самой души поэта, изъ самыхъ глубинъ его сознанія, и теперь паритъ надъ нимъ, указывая ему путь искупленія.

И германскій духъ долженъ вести народъ свой такимъ именно путемъ глубокаго внутренняго переживанія, если этотъ духъ хочетъ осчастливить другіе народы и тѣмъ самымъ выполнить свое призваніе. Пусть издѣвается надъ нами всякій, кто хочетъ, когда мы придаемъ столь безмѣрное значеніе нѣмецкой музыкѣ; это насъ отнюдь не можетъ сбить съ толку,—какъ не сбился съ толку нѣмецкій народъ, когда его врагамъ представилось, что можно себѣ позволить оскорбить германцевъ завѣдомо разсчитаннымъ сомнѣніемъ въ ихъ единодушной мощи. И это

"Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniss, Das ewig Weibliche zieht uns hinan".

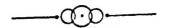
^{*)} Такъ, мнъ кажется, лучше всего перевести эквиритмичными дактилями знаменитые два стиха изъ "Фауста", цитируемые здъсь Вагнеромъ:

тоже было извѣстно нашему великому поэту, когда нѣмцы казались ему такими пошлыми и ничтожными въ ихъ внѣшней жизни и манерахъ, порожденныхъ плохимъ подражаніемъ,—и поэтъ искалъ себѣ утѣшенія; онъ нашелъ его, и оно гласило: "Нѣмецъ храбръ!" А это уже нѣчто!

Да будетъ-же нѣмецкій народъ также мужественъ и въ мирное время; пусть онъ лелѣетъ свою истинную цѣнность и сброситъ съ себя ложную внѣшность; пусть онъ никогда не захочетъ казаться тъмъ, чъмъ онъ вовсе не является на самомъ дѣлѣ и, напротивъ, позна̀етъ въ себѣ то, что составляетъ его единственную сущность! Пріятно-милое не дано ему,—всѣ его подлинныя побужденія и дѣянія слишкомъ для этого искренни и возвышенны. И въ этомъ чудесномъ 1870-мъ году-рядомъ съ побѣдами, одержанными мужествомъ нѣмецкаго народа, — ничто не можетъ такъ ободрить его, какъ воспоминаніе о нашемъ великомъ Бетховенъ, который сто лътъ тому назадъ былъ рожденъ нѣмецкому народу. Тамъ, куда проникаетъ теперь наше оружіе,—въ исконнемъ гнѣздѣ "наглой моды",—его геній уже сдѣлалъ благороднъйшее завоеваніе; то, что лишь съ трудомъ пересаживаютъ туда наши мыслители, наши поэты, — то, что они говорили тамъ неясно, словно

неразборчивымъ голосомъ,—то самое уже пробудила тамъ Бетховенская симфонія въ самой глубинѣ сердецъ: новая религія,—міроискупительное провозглашеніе возвышеннѣйшей невинности уже было тамъ понято такъ-же, какъ и у насъ.

Такъ будемъ-же чествовать великаго піонера, проложившаго путь въ пустынѣ выродившагося рая! Но будемъ чествовать его достойно, — не менѣе достойно, чѣмъ побѣды, одержанныя нѣмецкимъ мужествомъ! Ибо тотъ, кто даетъ міру счастье, — выше того, кто этотъ міръ завоевываетъ!



Цѣна 1 рубль.